***ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ***

**ИРМА КУДРОВА**

**Третья версия**

**Еще раз о последних днях Марины Цветаевой**

**Опубликовано в журнале:**[**«Новый Мир» 1994, №2**](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/2/)



**ИРМА КУДРОВА**

\*
**ТРЕТЬЯ ВЕРСИЯ**

Еще раз о последних днях Марины Цветаевой

**Л**юбое самоубийство — тайна, замешанная на непереносимой боли. И редки случаи — если, впрочем, они вообще существуют, — когда предсмертные записки или письма объясняют оставшимся подлинные причины, толкнувшие на непоправимый шаг. В лучшем случае известен конкретный внешний толчок, сыгравший роль спускового механизма. Но ключ тайны мы не найдем в одних только внешних событиях. Он всегда на дне сердца, остановленного усилием собственной воли. Внешнему принуждению можно и сопротивляться — и поддаться, на всякое событие можно отреагировать так — или иначе; запасы сопротивляющегося духа могут быть истощены, а могут еще и собраться в решающем усилии. Душевное состояние и состояние духа самоубийцы в роковой момент — вот главное.

Но увидеть изнутри человека в этой предельной ситуации — задача почти невозможная. И уж тем более, когда это касается личности столь незаурядной, как личность Марины Цветаевой.

Все это так. Оговорки необходимы.

А все же наш долг перед памятью великого поэта собрать воедино все подробности и обстоятельства, дабы полнее представить картину трагедии, последний акт которой разыгрался 31 августа 1941 года в маленьком городке Елабуге. Ибо есть в этой картине совсем непрописанные места. Оттого и гуляет так много версий гибели поэта: каждая, по существу, есть попытка утолить беспокойство, которое возникает вокруг всякой тайны.

Что бы ни утверждали иные знатоки, пытающиеся поставить тут точку, всякий раз получается лишь запятая — или многоточие. Загадка Елабуги остается; быть может, она останется навсегда. Так не будем и делать вид, что тут все уже ясно. Хотя бы потому, что есть подозрение: если объявить “елабужский эпизод” в биографии Цветаевой полностью проясненным, это может оказаться на руку тем, кто, возможно, знает о нем больше, чем мы с вами.

Вот почему я вижу смысл в том, чтобы пристальнее вглядеться в последние дни Цветаевой. И обозначить конкретнее неясности, сформулировать вопросы, на которые сегодня мы не можем найти ответов. Тогда со временем они могут найтись. Расчистим же для них место.

Все, кто встречался с Мариной Ивановной в те полтора месяца, которые отделили ее отъезд с сыном из Москвы от начала войны, сходятся в утверждении, что состояние духа ее было крайне напряженным и подавленным. Причин для этого было достаточно и до 22 июня. И все же нападение Германии и стремительное продвижение гитлеровских войск в глубь страны Цветаева, по свидетельству многих, восприняла как глобальную катастрофу с почти предрешенным исходом. Судьба Чехословакии и быстрое падение Франции оставались для нее незажившими ранами сердца. В Праге и Париже жили близкие ей люди и зримо стояли перед ее глазами места, где она радовалась и тосковала, мучилась над недающейся строкой и версту за верстой вышагивала по всем тропинкам и улочкам. Теперь все они — и знакомые лица, и холмистые предместья Праги, и уютные кривые переулки Медона — утонули в тени безумного фюрера. Ей могло иногда казаться — с ее-то отношением к мифу как к закономерности бытия, проступающей сквозь быт,— что ее саму неумолимо настигает цокот копыт того коня со Всадником, от которого некогда тщетно убегал бедный Евгений. Теперь этот цокот был слышен уже в Москве...

В середине июля 1941 года Цветаева проведет двенадцать дней за городом, вблизи Коломенского, на даче у своих литературных друзей. Но с 24-го она снова в Москве. Уже начались регулярные налеты на столицу немецких бомбардировщиков, ежедневно ревут сирены воздушной тревоги; в домоуправлениях формируют отряды, дежурящие на крышах домов во время налетов, чтобы гасить зажигательные бомбы. Город неузнаваемо преобразился: окна домов перекрещены полосками из газетной бумаги, чтобы не вылетали стекла от воздушной волны при взрывах бомб. На многих перекрестках висят “тарелки”-громкоговорители, по вечерам в небо поднимаются громоздкие глыбы аэростатов.

В эти дни Цветаеву часто встречают в скверике перед “Домом Ростовых” на улице Воровского (бывшей Поварской), где разместилось правление Союза писателей. Тут некогда молодая Марина слушала вдохновенные речи Андрея Белого, выступавшего перед “ничевоками”. А теперь здесь толкутся московские литераторы, жадно узнавая друг от друга новости — фронтовые и городские. И настойчивым рефреном то в одной группе, то в другой звучит слово “эвакуация”.

Первый эшелон московских литераторов и их семей отбыл из Москвы еще 6 июля. То есть в тот самый день, когда Военная коллегия Верховного суда вынесла смертный приговор мужу Цветаевой.

Теперь составлялись списки тех, кто поедет следующим эшелоном. Ближайший уходил 27-го.

Цветаева спрашивает совета чуть ли не у каждого, с кем она хоть мало-мальски знакома: уезжать или оставаться? А если уезжать, то куда? И с кем? Ей был необходим спутник-поводырь, даже в те далекие тихие дни, когда она приезжала из чешской деревни в Прагу, по делам. Как же было не искать теперь кого-нибудь, с кем можно решиться на то страшное-неведомое, что называлось словом “эвакуация”. Слишком хорошо она знала свою непригодность ко всем сферам практической жизни, где надо “устраиваться”, терпеливо хлопотать, добиваться.

Между тем в эти дни испытаний около нее нет по-настоящему близкого человека, кто бы за нее мог решить и сделать что нужно. Знакомых много. Но “многие” в таких ситуациях синоним “никого”. Ибо нужен один — и совсем рядом. Муру, правда, уже шестнадцать лет, он умен, начитан, но меньше всего пригоден к тому, чтобы стать опорой матери. И в этом она виновата сама, она не дает ему выйти из детства: опекает, как несмышленыша, запрещает, разрешает и совершенно теряется, когда он своевольничает. А теперь еще он влюблен и слышать не хочет об отъезде. Вечерами гуляет со своей знакомой девятиклассницей, а во время налетов иногда дежурит на крыше. Эти дежурства — чуть ли не главное, что заставляет Цветаеву торопиться с отъездом: она страшно боится за сына. И как же не бояться? Боялась бы, если бы и вся семья была рядом. Но теперь он остался у нее один.

Пастернак почти все время под Москвой, в Переделкине; Танечка Кванина, преданная, добрая, милая (Цветаева с ней сблизилась в Голицыне), не появлялась уже больше месяца. Ей нельзя даже и позвонить: у нее нет телефона. Николай Вильмонт ушел в ополчение, Тарасенков на фронте с первой недели войны. Авторитет же новых знакомых в тех проблемах, какие теперь надо решать, для Цветаевой неубедителен. Она не слишком доверяет даже искренне преданному ей молодому поэту Ярополку Семенову — слишком случайно и внезапно он появился на ее горизонте. “Почему он ко мне так хорошо относится? — спрашивает она у Алиной подруги Нины Гордон. — А может быть, он из НКВД?”1

Нине Гордон, как и Самуилу Гуревичу, мужу Али, Цветаева несомненно доверяет. Вместе с сестрой Сергея Яковлевича Елизаветой Яковлевной это самые близкие ей люди. Но у них у всех свои беды, хлопоты, службы. Да еще и телефоны не работают как раз тогда, когда надо принимать быстрое решение.

Соседка Цветаевой по квартире на Покровском бульваре — не та, которая враждовала с Мариной Ивановной, другая: Ида Шукст, тогда еще ученица десятого класса, дочь уехавшего на Север инженера, — вспоминала, как однажды во время воздушной тревоги она оказалась в бомбоубежище своего дома. Рядом сидела Марина Ивановна — закаменевшая, как изваяние, прямая, с руками словно приклеенными к коленям, с немигающим взглядом, устремленным перед собой. Ида совершенно не могла на нее смотреть, так было это тяжело, и постаралась больше не ходить в убежище вместе. Но постоянное внутреннее напряжение было заметно в Цветаевой и в относительно спокойные дни. Она была как перетянутая струна, вспоминала И. Б. Шукст-Игнатова; опасно было любое неосторожное прикосновение. “Видно было, что она все время сдерживалась, нервное истощение ее было на пределе”. И не было никакой разрядки этого напряжения. К ней приходили, но нечасто. И во всяком случае, Ида не запомнила ни одной женщины. А значит, не с кем было хотя бы на время расслабиться, сбросить душевную тяжесть: “...все было в себе, все за внутренней решеткой, и оттого нервный срыв был всегда рядом...”2

Цветаева с сыном уедет из Москвы 8 августа.

В самый канун отъезда она посетила Эренбурга, вернувшегося из Франции год назад, в августе 1940 года. Достоверных сведений о том, как именно прошла последняя встреча этих людей, некогда связанных близкой дружбой, у нас нет; есть не слишком достоверные. О свидании рассказывает со слов Мура в своей книге “Париж — Гулаг — Париж” Дмитрий Сеземан, сын А. Н. Клепининой, мемуарист, увы, слишком пристрастный, чтобы верить ему безоговорочно. Однако других источников нет, и остается надеяться, что хотя бы общая тональность этой встречи не искажена слишком сильно. Сеземан пишет: “Марина стала Эренбурга горько упрекать: “Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели здесь, вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает. Как мне прикажете быть?” Что же ей отвечал Эренбург? Мур мне это рассказывал на перроне Ташкентского вокзала, где часами стоял эшелон эвакуированного Московского университета. Рассказывал своим обычным ироническим, даже саркастическим тоном, далеким от какой бы то ни было моральной оценки... Так вот, Эренбург ответил Цветаевой так: “Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами сокрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего...” Он бы еще долго продолжал свою проповедь, но Марина прервала его. “Вы негодяй”, — сказала она и ушла, хлопнув дверью”.

Всегда трудно верить в точность диалогов, которые воспроизводятся по памяти, да еще спустя несколько десятков лет, да еще через третье-четвертое лицо. Встреча Эренбурга с Цветаевой наверняка не исчерпывалась диалогом такого рода. Ибо если иметь в виду дату встречи, то ясно, что Марина Ивановна приходила уже не для упреков, а скорее всего с главным своим вопросом этих дней: эвакуироваться ли? И куда лучше? с кем? Но возможно, что она попыталась “задействовать” Илью Григорьевича в прояснении судьбы мужа. Ведь для Цветаевой оставалось неясным, где он теперь, как решалась его судьба. Решилась ли? Раз она уезжала из Москвы, было непонятно, как дальше можно будет узнавать о Сергее Яковлевиче.

О судебном заседании, вынесшем 6 июля смертный приговор Эфрону, по порядкам тех лет, семье ничего не было сообщено.

Канун отъезда из Москвы описан в воспоминаниях Н. П. Гордон. Решение уезжать именно 8-го, с очередным писательским “эшелоном”, выглядит в этих воспоминаниях внезапным, принятым впопыхах, в состоянии крайнего нервного возбуждения: “И вся она была как пружина — нервная, резкая, быстрая... <...> Очень помню ее глаза в этот день (7 августа, в канун отъезда. — И. К.) — блестящие, бегающие, отсутствующие. Она как будто слушала вас и даже отвечала впопад, но тем не менее было ясно, что мысли ее заняты чем-то своим, другим”3. Из этого описания очевидно скорее другое: принимая решение ехать 8 августа, Цветаева не советовалась ни с Ниной Гордон, ни с мужем Али, несмотря на все к ним доверие. Они оба, придя к Марине Ивановне в этот канунный вечер, пытаются уговорить ее остаться, не спешить, хорошенько приготовиться и собраться, уехать она еще успеет. Цветаева как будто соглашается...

Но наутро все же уезжает. А на пристань ее с Муром приходят проводить Пастернак, Лидия Либединская, Лев Бруни! Значит, Марина Ивановна нашла время позвонить им, известить. И отъезд не был таким уж внезапным, решенным прямо в ночь на 8-е. Известно, что ранним утром к дому на Покровском бульваре подъехал грузовик Литфонда, забиравший вещи отъезжавших. Запись на этот грузовик велась заранее... Эта деталь лишний раз дает почувствовать страшнейшее одиночество Цветаевой в час пиковых испытаний.

Итак, 8 августа — отплытие из Москвы, с речного вокзала, на пароходе “Александр Пирогов”. В Казани пересадка на другой пароход, который пойдет уже по Каме. В Елабуге Цветаева опустит в почтовый ящик открыточку, адресованную в Союз писателей Татарии. В открытке — просьба помочь перебраться в Казань из Елабуги, Союз писателей Татарии мог бы использовать ее как переводчицу. При этом Марина Ивановна упоминает, что у нее есть рекомендательное письмо директора Гослитиздата П. И. Чагина. Даже два его письма — и в Союз писателей, и в Татарское издательство! И эта деталь тоже не слишком согласуется с версией о паническом внезапном отъезде Цветаевой. Значит, и маршрут следования парохода она знала хорошо и с Чагиным советовалась и даже заручилась его поддержкой. “Нервная, резкая, быстрая...” — пишет Гордон. Но на то были и совершенно естественные причины: сборы, канун отъезда! Да и грубых слов сына было бы для этого достаточно, ведь Мур сопротивлялся отъезду до последнего момента...

Дорога в Елабугу заняла десять дней. Долгий срок, когда жизненное пространство ограничено территорией парохода. За это время Цветаева перезнакомилась со многими писательскими женами. Некоторые из тех, с кем она успела немного сблизиться за время пути, сошли в Чистополе — городке, ставшем одним из центров эвакуации писательских семейств. Однако он был уже переполнен, и теперь московский Литфонд отправлял новые эшелоны дальше, в Елабугу, а в Чистополе имели право сойти только те, у кого здесь уже жили родственники.

Обратим внимание всего на один эпизод дальнейшего пути Цветаевой.

На пароходе появилась новая пассажирка — о ней запишет в своем дневнике Мур. Это Флора Лейтес. Она уже несколько недель прожила в Чистополе и теперь едет в Берсут, что по дороге в Елабугу, дабы забрать оттуда писательских детей, отдыхавших в пионерлагере, и привезти их в тот же Чистополь. И вот почти всю, правда недолгую, дорогу до Берсута Флора проведет в беседе с Мариной Ивановной. Беседа оказалась настолько сердечной и доверительной, что по окончании Флора дала Цветаевой свой чистопольский адрес и обещала помощь, если Марина Ивановна решит добиваться перевода из Елабуги.

В Берсуте Флора сошла. А у Цветаевой оставался отрезок пути до Елабуги, чтобы обдумать услышанное. Флора решительно поддерживала мысль не оставаться в Елабуге. Ее информация о Чистополе была уже, что называется, из первых рук. И наверняка она рассказала о том, что в городе действует общественный Совет эвакуированных при Союзе московских писателей и он помогает приезжим в устройстве; что там живет не только поэт Николай Асеев, с которым Цветаева была чуть ли не дружна, но и семьи Пастернака, Сельвинского, Федина, Леонова, Тренева. Что в писательской среде, где у Марины Ивановны все же немало знакомых, ей будет легче, чем там, где она всем чужая...

Этот дорожный эпизод достаточно объясняет тот странный на первый взгляд факт, что уже на следующий день после прибытия в Елабугу Цветаева отправляет телеграмму Флоре с просьбой начать хлопоты. Решение, похоже, было принято еще на подъезде к Елабуге. Белкина в своей книге высказывает другое объяснение — она считает, что Цветаеву испугал сам вид маленького захолустного городка: “сраженная Елабугой”, пишет Белкина, Марина Ивановна поспешила дать телеграмму4. Впрочем, одно не исключает другого, скорее дополняет.

Ничто не мешает нам предложить и еще одно объяснение этой поспешности. Мистическое. Настаивать на нем я не буду. Но для меня вполне реально предположить, что в состоянии того крайнего внутреннего напряжения, которое не оставляло Цветаеву уже несколько недель подряд, она могла ощутить, едва ступив на елабужскую землю, толчок в сердце. Необъяснимый толчок страха. А может быть, и больше — ужаса.

Ибо она ступила на землю, в которой тело ее спустя всего две недели будет погребено...

Так или иначе, 17 августа пароход причалил к Елабуге. 18-го отправлена телеграмма Флоре Лейтес.

Я увидела Елабугу впервые спустя более чем полвека после той трагической осени. С 1951 года город сильно разросся: в его окрестностях были обнаружены нефтяные месторождения. В восточной части Елабуги появился совсем новый район, застроенный стандартными домами. Но старый центр города хорошо сохранил свой облик. Конечно, с поправками на неизбежные вкрапления и архитектурные новшества советских лет. Но их, слава Богу, немного. Посреди центральной площади и до сих пор возвышается монумент величественного Ильича; продолжают носить советские имена улицы Ленина и Дзержинского, есть и Коммунистическая. Но одна из центральных улиц недавно все же получила старое имя — Казанской; только на дальнем ее конце еще не успели сменить вывески: долгие годы подряд это была улица Карла Маркса.

Центр старого города можно не спеша обойти за час-другой. Все дома, которые я здесь искала, оказывались рядом — чуть подальше или чуть поближе: здание Библиотечного училища, где поначалу разместили москвичей, приехавших вместе с Цветаевой; здание бывшего горсовета, где эвакуированным помогали отыскать жилье и работу; здание детской библиотеки, куда, как я узнала, Марина Ивановна приходила два или три раза...

Только на двух-трех центральных улицах старого города можно увидеть двухэтажные уютные каменные особнячки, любовно, со вкусом выстроенные в прошлом веке елабужскими купцами и заводчиками. Но сделайте два шага от старого центра — и вот уже царство одноэтажных бревенчатых домов, иногда обшитых ярко выкрашенной вагонкой, иногда украшенных резными наличниками на окнах и причудливой резьбой на воротах. Повсюду за заборами отяжелевшие ветви яблонь: я приехала как раз в августе — только что отошел “яблочный Спас”. Хозяйки торговали яблоками чуть ли не у каждого магазина, расположившись совсем по-домашнему на лавочках и приступочках. Впрочем, в ту осень, когда сюда приехала Цветаева, урожая яблок, вспоминают старики, совсем не было — чуть ли не все яблони в предыдущую (“финскую”) зиму повымерзли. Не было тогда и асфальта на улицах. В осеннюю непогоду туфли вязли в грязи, ходить можно было только в сапогах...

Улочка, на которой стоит дом с мемориальной доской, напоминающей, что именно здесь жила в августе 1941 года Марина Цветаева, тоже обрела старое имя. Теперь она уже не Ворошилова, как тогда, в годы войны, и не Жданова, как это было позднее, — она называется Малой Покровской. С Покровского бульвара в Москве — на Малую Покровскую в Елабугу! Но не прошло, видно, бесследно переименование. Не укрыл, не охранил Покров Божьей Матери. И не так уж случайно, наверное, что и на этой улочке, как раз в той ее части, которая примыкает к восстановленному теперь храму, тоже еще можно увидеть крепкие, будто совсем недавно подновленные таблички: “улица Жданова”. Прошлое, как репейник, цепляется за прежние опоры.

На сегодняшний день существуют три главных версии самоубийства Марины Цветаевой.

Первая принята сестрой поэта Анастасией Цветаевой — и тиражирована в многократных переизданиях ее “Воспоминаний”. Согласно этой версии, Марина Цветаева ушла из жизни, спасая или по крайней мере облегчая жизнь своего сына. Убедившись, что она сама уже не может ему помочь, более того — мешает прилипшей репутацией “белогвардейки”, она принимает роковое решение, лелея надежду, что Муру без нее скорее помогут. Особенно если она уйдет так.

Другая версия наиболее аргументирована Марией Белкиной. С одной стороны, считает она, к уходу из жизни Цветаева была внутренне давно готова, о чем свидетельствуют множество ее стихотворений и дневниковые записи. Но Белкина вносит еще один мотив; он назван не слишком прямо, но проведен с достаточным нажимом. Это мотив душевного нездоровья Цветаевой, обострившегося с начала войны. Белкина опирается при этом на личные свои впечатления, личные встречи — и в этом как плюсы, так и минусы ее свидетельства. “Она там уже в Москве потеряла волю, — читаем мы в книге “Скрещение судеб”, — не могла ни на что решиться, поддавалась влиянию любого, она не была уже самоуправляема... И внешне она уже изменилась там в Москве, когда я ее увидела в дни бомбежек, она осунулась, постарела, была, как я уже говорила, крайне растерянной, и глаза блуждали, и папироса в руке подрагивала...”5

В этом свете последний шаг Цветаевой предстает как закономерный, неотвратимый. Это шаг больного человека...

Наконец, в последние годы появилась третья версия гибели поэта. В ней роковая роль отводится елабужским органам НКВД. Автор версии — Кирилл Хенкин, высказавший ее на страницах своей книги “Охотник вверх ногами”, изданной первоначально во Франкфурте-на-Майне в 1980 году, а теперь и у нас. В Москве эта книга, написанная на автобиографическом материале, появилась в 80-х годах. Как и другая продукция “тамиздата”, она ходила в кругах диссидентских и околодиссидентских, и заполучить ее в руки мне, наезжавшей в столицу из Ленинграда всегда на короткое время, долго не удавалось. Но эпизод из книги, касающийся Цветаевой, достаточно подробно пересказал мне мой московский друг Лев Левицкий. В пересказе эпизод показался малоправдоподобным. В частности, еще и потому, что он слишком уж вписывался в модное поветрие: искать везде и всюду руку НКВД. Тем более что аргументации, насколько я поняла, не было никакой. Сведения покоились на авторитете некоего Маклярского. Его имя мне тогда ни о чем не говорило. Как и имя самого Хенкина.

В спецхранах ленинградских и московских библиотек “Охотника...” не оказалось, и прошло немало лет, пока я смогла сама прочесть книгу. Сюжет, который мне пересказывали, занял там всего шесть небольших страничек; я прочла их, и они снова показались мне легковесными. Сама авторская стилистика разрушала возможность чрезмерного доверия. Ибо Хенкин избрал манеру полубеллетристическую, он постоянно домысливал мотивацию поступков — за Цветаеву, за Пастернака, за Асеева. И что ни фраза — мимо! Либо очевидное упрощение, оглупление — как личности, так и обстоятельств, — либо натяжка, либо явное незнание фактов. Процитирую наиболее значимый отрывок:

“Но я еще тогда (зимой 1941 года. — И. К.) узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью.

Историю эту я слышал от Маклярского. <...>

Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД и предложил “помогать”.

Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: женщина приехала из Парижа — значит, в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут льнуть недовольные. Начнутся разговоры, которые позволят всегда “выявить врагов”, то есть состряпать дело. А может быть, пришло в Елабугу “дело” семьи Эфрон с указанием на увязанность ее с “органами”. Не знаю. <...>

Ей предложили доносительство.

Она ждала, что Асеев и Фадеев вместе с ней возмутятся, оградят от гнусных предложений. <...> боясь за себя, боясь, что, сославшись на них, Марина их погубит, Асеев с Фадеевым сказали (или кто-то один из них сказал, — может быть, и Асеев — боясь Фадеева) самое невинное, что могли в таких обстоятельствах сказать люди их положения. А именно: что каждый сам должен решать — сотрудничать ему или не сотрудничать с “органами”, что это <...> дело политической зрелости и патриотизма”6.

Фадеева тогда в Чистополе не было; соображение, “что могли сказать”, звучит по крайней мере неубедительно. Когда достоверное столь растворено в домысле, делать с этим нечего. Таким свидетельством, в сущности, можно было бы пренебречь. Но слишком важного момента оно касается...

Так или иначе, перед нами — третья версия, перед которой прежние тускнеют и отступают на задний план.

Версия представлялась шаткой со многих точек зрения. Казалось, как мож-но было зимой 1941 года в Москве узнать о том, что произошло в далекой Ела-буге в сильно засекреченном ведомстве за семью замками? И кто это в то время так уж интересовался в столице судьбой Цветаевой, кроме самого узкого круга людей, ее лично знавших? Репутацию великого поэта она обрела только лет сорок спустя...

Однако, когда конкретнее обрисовался облик обоих участников того зимнего разговора, сомнения мои стали терять прочность. Вновь появившиеся мемуары и документы подтвердили близость Хенкина к семье Цветаевой еще во Франции. В дневнике сына Цветаевой, как выяснилось, зафиксировано известие о приезде Хенкиных в СССР (запись 28 февраля 1941 года). А в одном из недавно обнаруженных писем Ариадны Эфрон оказалась характеристика Е. А. Нелидовой-Хенкиной (матери автора книги) как человека, хорошо знакомого с подробностями тайной работы Сергея Эфрона в советской разведке. И из того же “Охотника...” нам теперь известно, что как раз с подачи Эфрона сам автор книги в конце концов влился в ряды сотрудников НКВД. Зимой сорок первого года Хенкин уже служил в Четвертом управлении. И непосредственным его начальником был не кто иной, как Михаил Борисович Маклярский!

Круг специфических интересов полковника госбезопасности Маклярского включал как раз деятелей советской литературы и искусства — в предвоенные и военные годы. Позже, когда война закончилась, на первый план выступила (и нашла отражение в советской киноэнциклопедии) другая сторона деятельности полковника. В миру он стал сценаристом. Фильмы по сценариям с его участием широко известны: “Подвиг разведчика” (1947), “Секретная миссия” (1950), “Заговор послов” (1966) и другие, той же направленности. В 1960 году он уже возглавил Высшие сценарные курсы... И теперь еще многие москвичи из кругов кино-литературных хорошо помнят Михаила Борисовича (он умер в 1978 году) и даже утверждают, что прямые его связи с НКВД—КГБ были широко известны.

Но если таков был род занятий Маклярского, то он просто не мог не знать о недавно вернувшейся из эмиграции поэтессе, у которой к тому же были арестованы к началу войны и сестра, и муж, и дочь. Известие о ее трагической кончине не могло не дойти до него по вполне естественным каналам. Ибо Цветаева оказывалась, таким образом, в кругу его “подопечных”.

Взятое в совокупности, все это уже не оставляет возможности биографу поэта игнорировать версию Хенкина как вольный домысел на модную тему. Между тем до сих пор эта версия никем всерьез не рассмотрена — в лучшем случае она мельком упоминается. Не потому ли, что проверить, подтвердить ее каким-то документом или по крайней мере дополнительным свидетельством затруднительно? Поиски досье на Цветаеву упираются в глухую стену. По логике вещей, его не могло не быть. Однако елабужское НКВД отвечает, что архивы военного времени надо искать в Казани. Казань отрицает: у них ничего нет. Москва ссылается на Казань — ответы, впрочем, туманные. Отчаявшись найти концы, я пытаюсь узнать у людей осведомленных — сотрудников архива КГБ: если бы все же досье нашлось, можно ли быть уверенным, что в нем сохранились следы вербовки, то бишь “приглашения к сотрудничеству”? Оказывается, совсем необязательно. Особенно если согласие вербуемого не было получено. Зачем оставлять следы плохой ра-боты?..

Так мы оказываемся наедине с возможностью либо доверять, либо не доверять рассказу Хенкина. Ведь остается и вероятность выдумки со стороны Маклярского, ну, скажем, чтобы придать веса своей осведомленностью в глазах низшего чина. И возможность простого “предположения”, воспринятого Хенкиным как достоверная информация.

Однако по существу своему ничего невероятного в высказанной версии тоже нет. Известно, что и Ариадне Эфрон было сделано то же предложение в лагере. В органах существовал свой производственный план по вербовке сексотов среди населения; это называлось “профилактической работой”. И чтобы “беседовать” с Цветаевой в означенном духе, елабужским чекистам не нужно было даже ждать прибытия из Москвы ведомственной почты с личными досье. Несомненно, что все необходимое было переслано и в Чистополь и в Елабугу отделом кадров Союза писателей прямо с кем-то из приехавших.

Представим. В елабужском НКВД царит тоска и провинциальная плесень. И вдруг такая удача: прибывает бывшая белоэмигрантка (именно этот термин бытовал в те годы!), у которой сидит вся семья да плюс к тому муж воевал в Белой армии. И имеется сын — единственный из семьи, оставшийся рядом. Такая уязвимость — находка. Широкий простор для увещеваний, угроз и шантажа.

Мне приходилось, правда, слышать возражения: да зачем она была им нужна? За кем следить? На кого доносить? Что могла сообщить полезного?

Но Учреждение, о котором идет речь, никогда не вписывалось в пределы разумности и логики. А значит, ответов может быть множество. И “производственный план”. И любопытство. И желание припугнуть, лишний раз получая удовольствие от сознания вседозволенности. И прямое указание из Москвы. И просто: почему бы нет? Биография уж очень подходящая.

Наше затруднение не в подборе подходящих мотивов. Оно в роковой обреченности на отсутствие документальных доказательств. Единственное, что остается добросовестному биографу, — иметь в виду реальную возможность этой версии. И соотносить с ней уже известные факты и новые свидетельства.

Это я и попробую сделать.

В хронике последних двенадцати дней жизни Марины Цветаевой (от высадки на пристани “Елабуга” до трагического дня 31 августа) далеко не все прояснено. Даже в книге Белкиной, опирающейся на множество опрошенных свидетелей, остаются еще противоречия и недосказанности. Некоторые Белкина отмечает сама, правда, слишком мельком. И вот пример.

На что жить, когда кончатся вывезенные из Москвы съестные запасы и будут проедены взятые с собой вещи? Где и как зарабатывать? Это, кажется, одна из главнейших точек беспокойства Цветаевой, мучившего ее уже на пароходе, до прибытия в Елабугу. Однако по приезде, если верить письму-воспоминанию Т. С. Сикорской (приведенному Белкиной), Марина Ивановна идти в горсовет и искать работу отказывалась: “„Не умею работать. Если поступлю — сейчас же все перепутаю. Ничего не понимаю в канцелярии, все перепутаю со страху”. Ее особенно пугала, — продолжает Сикорская, — мысль об анкетах, которые придется заполнять на службе...”7

Этому утверждению противоречат сведения, которыми мы располагаем сегодня. Цветаева искала работу в Елабуге, и весьма энергично! По свидетельству хозяйки дома А. И. Бродельщиковой, Марины Ивановны почти никогда не было дома. И вместе с тем известно, что не один раз она заходила в районный отдел народного образования, предлагала свои услуги в Педагогическом институте, два или три раза была в елабужской детской библиотеке на Тойминской улице, но книг не брала, сына с собой не приводила, а всякий раз уединялась с заведующей библиотекой в ее кабинетике — не для того ли, в частности, чтобы узнать о возможности устроиться на работу? Конечно, ей приходилось постоянно подавлять страх, едва дело доходило до предъявления паспорта и заполнения анкет. Возможно, что где-то до этого дело дошло, иначе почему же в городке так широко знали о том, что она приехала из-за границы и что муж ее был в Белой армии? Уж конечно, сама она об этом без необходимости не распространялась...

В одном месте ей сразу отказывали, в другом она отказывалась сама, узнав условия и характер работы и понимая, что не справится. Свою непригодность к “чистой” канцелярской работе она действительно знала еще со времен гражданской войны, когда в 1919 году ей пришлось несколько месяцев прослужить в Комитете по делам национальностей. Она сама об этом рассказала в мемуарном очерке “Мои службы”. И еще она знала, что совершенно неспособна быть, скажем, воспитательницей в детском саду. Это тоже не требует пояснений — достаточно вспомнить стрессовое состояние Марины Ивановны в эти недели.

Но вот противоречие в чистом виде. Сикорская пишет: “Все уговоры пойти в горсовет не помогли...” Между тем в дневнике Мура есть запись о том, что Цветаева в горсовете была.

Может быть, это означает только то, что Цветаева не пошла туда вместе с Сикорской? Пошла одна, без нее? Это возможно. Хотя в прежние времена она всегда кого-нибудь просила, чтобы ее сопровождали, тем более в незнакомом городе...

Это не все. Упоминая запись Мура, Белкина не приводит ее полностью. Между тем запись странная и важная. Увы, и я знаю ее лишь в выписке, выжимке. Вполне достоверной, впрочем. И одна деталь там крайне настораживает. В записи сына Цветаевой сказано, что в этот день (20 августа) Марина Ивановна была в горсовете и работы там для нее нет, кроме места переводчицы с немецкого в НКВД.

Нотабене! В первый и последний раз аббревиатура НКВД появилась в елабужском дневнике Мура!

Мельком, без пояснений.

Место переводчицы — ведь это предел мечтаний Цветаевой. Решение всех проблем! Чего тогда еще искать и зачем?

Но вот странность: в горсовете не могли предлагать работу в НКВД! Это просто исключено. Подбор кадров для себя это серьезное Учреждение никому и никогда не доверяло. В сегодняшней Елабуге мне удалось найти женщину, которая как раз в годы войны такую работу и получила: она была переводчицей с немецкого в елабужском лагере для военнопленных. Лагерь возник в начале 1942 года, и вполне вероятно, что осенью сорок первого к его открытию уже начинали готовиться, подбирали штат. Но Тамару Михайловну Гребенщикову направили на эту работу специальным распоряжением НКВД Татарии! Она это помнит твердо. И подтверждает: горсовет не имел никакого отношения к подбору сотрудников такого рода...

Что же остается предположить? Ведь и отмахнуться нельзя от этой странной записи: перед нами не воспоминание, отделенное от упоминаемых событий большим или меньшим временем, когда что-то может сместиться в памяти. Мур делает запись в тот же день!

Не была ли Цветаева утром этого дня в другом месте? Вовсе не в горсовете, а в елабужском НКВД? Не потому ли и пошла она туда одна, без сопровождающих?

Но зачем? По вызову? Так быстро сработавшему? Ведь группа из московского Литфонда прибыла в Елабугу всего два дня назад! Они еще даже не расселены по квартирам и живут все вместе в помещении Библиотечного училища. Такая оперативность кажется маловероятной: не по-советски. Хотя все же не исключено.

А не могла ли Цветаева пойти в это Учреждение по собственной инициативе, без всякого вызова? Например, потому, что она все еще ничего не знала о судьбе мужа. Еще в мае из НКВД затребовали для него вещи; естественно было предположить, что Сергея Яковлевича готовят наконец к отправке по этапу. Где он теперь? Если отправлен, необходимо, во-первых, узнать его адрес для писем, во-вторых, сообщить свой собственный — новый, елабужский. С другой стороны, идти добровольно в то самое Учреждение, когда ее все полтора года не отпускал страх ареста... Да, но ведь в Москве она ходила! И даже дважды в месяц — с передачами и за справками.

Так или иначе, запись в дневнике Мура крайне важна: при всей ее невнятности она неожиданно подкрепляет версию Хенкина. Мур, правда, пишет о горсовете. Но не потому ли, что Цветаева даже сыну не стала говорить правды? По крайней мере всей правды. Особенно если в самом деле там предложили “сотрудничество” — в обмен за помощь в устройстве на работу. А если бы даже Марина Ивановна сказала сыну всю правду, естествен вопрос, стал ли бы он записывать ее — черным по белому — в свой дневник. Сомнительно.

Я все же, впрочем, думаю (если принять версию Хенкина), что рассказано это не было. Иначе как-нибудь просочилось бы позже, например, через такого близкого Муру человека, как Дмитрий Сеземан. Можно было бы догадаться и по каким-то подробностям, интонациям, характеру записей и писем Мура. Мне не удалось, однако, найти в них ни малейшей зацепки для такого рода предположений.

Поездка в Елабугу прошлой осенью осторожные предположения превратила почти в полную уверенность.

Начну с того, что в разговоре со мной теперешний начальник Елабужского КГБ Баталов и старший оперуполномоченный капитан Тунгусков, когда я напрямую задала им свои вопросы, высказались совершенно однозначно: “беседа” такого рода с Цветаевой в том далеком августе представляется им более чем реальной. Нет, документальных подтверждений в их распоряжении нет. Но практика тех лет такому предположению совершенно не противоречит. А разве, спросила я, анкетные данные Цветаевой не исключали ее из числа возможных “сотрудников”, пусть даже и секретных? Ведь естественнее, кажется, за ней самой наблюдать, а не поручать ей, чтобы она следила за другими? Насколько я поняла из ответа, и то и другое вполне совместимо.

Еще более весомыми оказались воспоминания старых елабужан. Правда, и они чаще всего говорили об общей практике тех лет, о царившей в городе атмосфере, а не прямо о случае с Цветаевой. Но когда бывшая учительница математики, работавшая в одной из известных школ города, рассказывала мне о том, как елабужское НКВД пыталось вербовать ее в сексоты, я слушала ее историю отнюдь не как сторонний материал. Анну Николаевну Замореву настоятельно призывали последить за другим учителем, приехавшим в начале войны из Бологого, — Германом Францевичем Диком. Рекомендовали записывать, с кем он общается, что именно говорит... Рассказала Анна Николаевна и о том, как умели мстить за непокорство. Нет сомнения, что то был не единичный случай в Елабуге. Провинциальный городок нашпигован был стукачами не хуже городов столичных. Как и там, шквал арестов сильнее всего здесь прошелся в тридцать седьмом — тридцать восьмом. Лучшие люди города один за другим исчезали тогда в лагерях ГУЛАГа. Немногие вернувшиеся шепотом рассказывали самым близким о том, что увидели и пережили в тюрьмах и лагерях.

Но нашлись и те, кому довелось-таки видеть и запомнить саму Марину Ивановну и ее сына. Таких, правда, оказалось уже немного, и рассказы их были отрывочны и лаконичны. Больше всего меня поразил один повтор, тем более достоверный, что слышала я его от разных людей, не знавших друг друга.

Тамара Петровна Краснова, тогда совсем молоденькая, увидела Цветаеву посреди базара. Что это именно она, сообразила много лет спустя, когда ей в руки попалась книга с портретом Марины Ивановны: “Чувство было совершенно отчетливое: это ее я тогда видела!” А запомнила она эту необычную женщину потому, что нельзя было не обратить на нее внимания: стоя посреди базара в каком-то жакетике, из-под которого виден был фартук, она сердито разговаривала с красивым подростком-сыном по-французски. Тамара Петровна знает немного немецкий и говорит, что французский она легко отличает от других языков. Женщина курила, и жест, каким она сбрасывала пепел, тоже запомнился — он показался Тамаре Петровне странно красивым. А у нее был особенный глаз на такие подробности — она готовилась тогда в артистки. Сын отвечал женщине тоже сердито, на том же языке; потом побежал куда-то, видимо по просьбе матери. Пара была ни на кого не похожа, потому надолго и запомнилась. А еще необычным было лицо этой женщины: будто вырезанное из кости и предельно измученное. Такое, будто у нее только что случилось большое горе.

Вот этот повтор: лицо измученное! Будто сговорились. Вспоминали разные подробности — одежду ее, фартук, в котором ее видели на улице, суровость, с какой проходила она мимо молоденькой библиотекарши в кабинет заведующей. И всякий раз неукоснительно: “Лицо у нее такое было... будто сожженное... замученное”.

Еще один елабужский старожил засвидетельствовал личное знакомство — но уже не с Мариной Ивановной, а с инструкцией, ее непосредственно касавшейся. Мой собеседник Николай Владимирович Леонтьев хорошо помнил содержание этой инструкции. В ней давалась характеристика Цветаевой, а также жесткие указания, какие меры следует предпринимать, дабы оберечь граждан города от вредоносного влияния самой памяти о пребывании Цветаевой в городе Елабуге. Знал эту инструкцию Н. В. Леонтьев по долгу службы, ибо возглавлял в елабужском горкоме партии отдел пропаганды и агитации, кажется, так это тогда называлось... Правда, не во время войны, а вскоре после ее окончания. Однако инструкция — это совершенно ясно — сохранила дух, нисколько, по-видимому, не изменившийся с того времени, как в Елабугу прибыла 17 августа 1941 года великая русская поэтесса.

— Кем был составлен этот циркуляр, — задаю я наивный вопрос Николаю Владимировичу, — елабужскими властями или казанскими?

Реакция в ответ почти сожалеющая: настолько ничего не понимать! Однако когда мой собеседник начинает излагать суть инструкции, моя наивность испаряется: очевидно, что елабужским властям самим такого просто не придумать.

Характеристика, без сомнения, составлена была в самых высших компетентных органах, то бишь в московском НКВД. Она представляла Цветаеву как матерого врага советского власти (именно эти слова!). Как человека не только настроенного против советского строя, но и активно боровшегося с этим строем еще там, “за кордоном”. Печаталась в белогвардейских журналах и газетах, входила в белогвардейские организации... И так далее в том же духе. Короче, человек не только чуждый социалистическому обществу, но и опасный для него.

Леонтьев не хотел ничего прибавлять из того, о чем он узнал много позже. Так, он решительно утверждал, что о муже Цветаевой в том циркуляре ничего не было сказано. Видимо, для захолустной Елабуги излишние сведения были не нужны: ведь сам Эфрон здесь появиться не мог...

Через руки моего собеседника прошли многие циркуляры тех лет: он помнит списки книг, подлежавших уничтожению во всех библиотеках города, включая самые маленькие; помнит инструкции о портретах членов Политбюро — какие следовало, а какие не следовало нести на первомайской демонстрации...

Наконец, сопоставляю все услышанное в те дни с уникальной публикацией, появившейся в 1993 году в журнале “Родина” (№ 4). Ее автору удалось-таки познакомиться с досье другого гостя Елабуги — С. Я. Лемешева. Прославленный певец появился в городе спустя несколько месяцев после гибели Цветаевой, и он провел здесь два месяца, с конца мая по июль 1942 года. Документы, обнародованные А. Литвиным, доказательно опровергают представление о российской глубинке как о месте, где легко было схорониться от настойчивых преследований Учреждения. Выясняется, что прямо вслед за Лемешевым и его женой из Москвы в Казань, а из Казани в Елабугу на имя старшего лейтенанта ГБ Козунова, начальника отделения НКВД в городе, последовал строжайший циркуляр. Он предписывал установить неусыпный контроль за каждым шагом знаменитого тенора и его жены, ибо они “разрабатывались”, на языке НКВД, как предполагаемые шпионы. Досье заполнено сведениями о вербовке соседей Лемешева, знакомых его знакомых, а также усердными донесениями последних... И похоже, что единственным основанием всего была... немецкая фамилия жены певца!

Но вернемся к хронологии дальнейших дней в Елабуге. На следующий же день после визита в “горсовет” Цветаевы поселяются в доме Бродельщиковых на улице Ворошилова. Это одноэтажный бревенчатый дом, каких множество в Елабуге.

За помощь “свыше” принять это никак нельзя, настолько жалка здесь крошечная комнатка, в которой поселяются мать и сын. В комнатке всего метров шесть, перегородка, отделяющая комнатку от хозяйской горницы, не доходит до потолка, вместо двери — занавеска. Согласиться на это убожество можно было разве что от невыносимой усталости — или при уверенности, что жить здесь придется совсем недолго.

Еще день спустя, то есть 22-го, в том же дневнике Мура запись: решено, что Цветаева поедет в Чистополь. Одна, без вещей и сына. Цель поездки подробно не обозначена, но понятна: ответа от Флоры Лейтес все еще нет и необходимо разузнать, можно ли туда, в Чистополь, переехать. Мотивы понятные, единственная опять-таки странность — в спешке. Прошло всего три дня после отправления телеграммы! Идет всего лишь пятый день пребывания в Елабуге! Почему не подождать ответа еще немного?

Но 24-го Цветаева уже отплывает на пароходе в Чистополь.

Задержимся, однако, в Елабуге еще на некоторое время.

Спустя полвека после гибели Цветаевой на вечере, посвященном ее памяти, в 1991 году, неожиданно обнаружился еще один очевидец тех давних лет. Он назвал себя Алексеем Ивановичем Сизовым. В начале войны молодым пареньком он преподавал физкультуру и военное дело в елабужском педучилище. И встретил однажды, в конце лета 1941 года — занятия еще не начинались, во дворе училища женщину с усталым, измученным лицом. Она спросила его, местный ли он, и, услышав утвердительный ответ, попросила помочь найти комнату для нее и ее сына. Сизов понял, что перед ним эвакуированные, и посоветовал обратиться в горсовет — там занимались расселением приехавших. Но женщина ответила: “У нас уже есть комната, но я бы хотела переехать. С хозяйкой мы не поладили...” Узнав, где именно поселилась приезжая и кто ее хозяйка, Сизов подумал про себя, что с Анастасией Ивановной Бродельщиковой и в самом деле поладить непросто — характер у нее жесткий. Алексей Иванович это знал, потому что не раз рыбачил с ее мужем и в дом к ним был вхож. Из дальнейшего разговора выяснилось, что женщина — писательница, и тут Сизов вспомнил, что уже слышал о ней. Она приходила в училище устраиваться на работу. Только биография у нее была неподходящая: из белоэмигрантов, “чуждый элемент” — так тогда говорили. И ее не взяли, хотя места были.

Алексей Иванович стал расспрашивать женщину, не она ли была за границей и с кем она там встречалась из писателей, наших и французских. Они поговорили немного. И в конце концов Сизов обещал поискать жилье8.

— Откуда вы узнали, — спросила я у Алексея Ивановича, встретившись с ним теперь, в августе девяносто третьего, — что она из-за границы приехала? Не сама же она направо и налево об этом говорила?

— Конечно, нет. Но я слышал, как о ней судачили в нашей канцелярии после ее прихода.

Бродельщикова при встрече подтвердила, что хотела бы других постояльцев, не этих. “Пайка у них нет, — объяснила она Алексею Ивановичу, — да еще приходят эти, с Набережной (то есть из органов НКВД. — И. К.), бумаги ее смотрят, когда ее нет, и меня расспрашивают, кто к ней ходит да о чем говорят... Одно беспокойство... Я и сказала, чтобы они другую комнату искали”.

Эта подробность в воспоминаниях Сизова мне показалась сначала наиболее сомнительной: не придумана ли, по модным выкройкам времени? Однако теперь, после елабужских встреч и воспоминаний, она выглядела уже иначе. Чего проще, в самом деле, самих хозяев дома сделать осведомителями, притом вовсе не прибегая к настораживающему термину!

Через день-другой военрук нашел для Марины Ивановны комнату на улице Ленина, около татарского кладбища, — там жило одно знакомое ему семейство. И он даже отвел туда Цветаеву и оставил — для переговоров, а сам ушел. Дела были, рассказывал Сизов, он на молотилке в эти августовские дни работал на окраине Елабуги.

Еще прошло дня два-три. (Эти сроки: “день-другой”, “дня два-три”, конечно, хуже всего помнятся спустя полвека; между тем дней-то у Цветаевой в Елабуге было считанное число! Да еще посредине поездка в Чистополь. Когда начался этот сюжет с Сизовым? Если он был — а по-видимому, все же был, — то возникнуть должен был еще до поездки. И продолжился по возвращении Цветаевой из Чистополя.) Итак, спустя время вахтер училища, где Сизов жил, передал ему записку. Там было написано крупным почерком Цветаевой: “Алексей Иванович, хозяйка, у которой мы были, мне отказала”. Отправившись снова на улицу Ленина, Сизов застал там въехавших других постояльцев. Объяснение хозяев было простое: “У твоей ни пайка, ни дров. Да она еще и белогвардейка. А эти мне вот печь переложить взялись...”

“Белогвардейка”, “чуждый элемент”, “из-за границы приехала” — это была, кстати говоря, та мета, по которой и елабужцы и эвакуированные, здесь уже жившие до прибытия “писательской группы”, сразу вспоминали Цветаеву, не путая с другими, — она одна была здесь такая “крапленая”. Молодого и любопытного Сизова это притягивало, людей постарше отпугивало, даже не только из-за опасности быть с ней в знакомстве — просто она была “другая”, непохожая, “не наша”. Причина для провинции вполне достаточная, чтобы вызвать недружелюбное чувство.

— Да что за дело хозяйкам-то, — спрашиваю я Сизова, — как будут перебиваться жильцы — с пайками или без, не все ли им, хозяевам, равно?

Оказалось, что совсем не все равно. По заведенному порядку принято было, чтобы постояльцы приглашали хозяев к ежевечернему чаю, угощали. То есть, говорит Сизов, по сути дела, приезжие должны были делиться пайком. И кроме того, у кого был паек, тому горсовет и дрова давал, а ведь зима уже была не за горами...

Но почему же тогда Цветаева оказалась без пайка? Просто не успели еще оформить — или обошли? Этого мне узнать не удалось. Между тем для самочувствия Цветаевой обстоятельство это наверняка было весьма значащим.

Я еще вернусь к сизовскому сюжету, пока отмечу лишь, что, во всяком случае, он вносит поправки в воспоминания тех, кто успел побывать в Елабуге еще при жизни Бродельщиковых и поговорить с ними о Марине Цветаевой. В этих воспоминаниях хозяева дома, где Марина Цветаева прожила последние дни своей жизни, выглядят очень благообразно. Симпатичные, милые, добрые, “с врожденно благородной нелюбовью к сплетне, копанию в чужих делах” (В. Швейцер). Правда, в иных зафиксированных интонациях хозяйки можно расслышать и затаенную обиду: уж очень была молчалива, о себе ничего не рассказывала, а это для российского простого человека нередко означает “гордыню”. “Только курит и молчит” — даже сидя рядом с хозяйкой на крылечке дома. Впрочем, одну фразу, на крылечке как раз и произнесенную, Бродельщикова запомнила — для нас очень важную. Мимо дома вечерами маршировали красноармейцы, проходившие в городе военную подготовку. И у Цветаевой однажды срывается: “Такие победные песни поют, а он все идет и идет...”

В день отъезда Марины Ивановны в Чистополь Мур записывает о матери в свою тетрадь: “Настроение у нее отвратительное, самое пессимистическое”.

В версии Кирилла Хенкина эта поездка выступает важным звеном. Хенкин убежден, что Цветаева поехала в Чистополь прежде всего “за сочувствием и помощью”, напуганная елабужскими органами. Отметим, кстати, что если и в самом деле “горсовет” — это эвфемизм НКВД, дата “собеседования” — 20 августа — вполне согласуется с тем, что Хенкину говорил Маклярский: “Сразу по приез-де Марины Ивановны в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД...” — и т. д. Тогда выстраивается следующая цепочка событий: 17 августа — приезд в Елабугу, 20-го — “беседа” в НКВД, через день — запись Мура о решении матери ехать в Чистополь, 24-го — отъезд. Психологически в этом варианте стремительный отъезд из Елабуги более чем закономерен. Когда такое случается, первое, что необходимо человеку, — совет. Плечо. Опора. В этой ситуации оказаться одному, особенно для человека нервно измученного так, как уже была измучена Цветаева, — катастрофа. Необходим кто-нибудь свой, близкий, не из новых знакомых, как бы симпатичны они ни были, а из давних, прежних, надежных, знающих все особенности твоей ситуации без объяснений. И для Цветаевой естественно было подумать прежде всего об Асееве.

Он — в Чистополе, и он там — не рядовой и бесправный, не мелкая сошка, а один из самых весомых членов правления писательского союза. У него авторитет и связи, с ним не могут не считаться. Я не думаю, что Цветаева действительно надеялась (как иронически пишет Хенкин) на активную “защиту”. Вряд ли настолько она была наивна. Ей нужна была поддержка, совет. Что делать? Как себя дальше вести? Ибо если предположить встречу с “уполномоченным”, то реально допустить и угрозы с его стороны — в случае отказа или даже колебаний. Согласитесь сотрудничать с нами — и с жильем поможем, и вот вам работа переводчика, о которой вы мечтаете. Нет? Ну, так вас никуда не возьмут... И значит, вы не хотите подумать о судьбе сына?.. Практика известная, стандартная, и если уж допускать возможность такого “сюжета”, то надо просмотреть его до конца.

Самое простое (хотя и действительно наивное), что теперь могло прийти в голову, — это быстро уехать из Елабуги. Оказаться поблизости от Асеева, от писательских организаций — в том кругу, который хоть что-то знал о ней самой, где она не чувствовала бы себя иголкой, затерянной в стогу сена. Всю свою жизнь сторонившаяся объединений и группировок, всегда стоявшая вне, она теперь вынуждена искать спасения в принадлежности хоть к какому-то братству...

Между тем в ее отношениях с Асеевым не существовало никакой особенной теплоты. Как раз весной сорок первого года возникло какое-то подобие дружбы. Достаточно внешней — хотя бы потому, что Цветаеву жена Асеева активно не любила. Мне пришлось с ней однажды разговаривать, и она предупредила сразу, что ничего хорошего о Марине Ивановне сказать не сможет. Да, Цветаева приходила к ним в Москве, и не однажды, “и проходила мимо меня, как мимо мебели, едва кивнув. Она хотела говорить только с Асеевым, остальные ее не интересовали...”. Никакой скидки на трагичность жизненных обстоятельств Цветаевой в это время жена Асеева делать не умела и не хотела. И даже наоборот: эти обстоятельства должны были скорее усилить ее неприязнь. Ибо она принадлежала к тому кругу “сливок” советского общества, где удерживались только умевшие отворачиваться от несчастий остального мира.

Сын Цветаевой скрытых подтекстов, по-видимому, не улавливал и 3 июня сорок первого года так писал своей сестре: “В последние два-три месяца мы сдружились с Асеевым, который получил Сталинскую премию за поэму “Маяковский начинается”. Он — простой и симпатичный человек. Мы довольно часто у него бываем — он очень ценит и уважает маму”9.

Цветаева пробыла в Чистополе два дня — 25 и 26 августа. 27-го утром она уже снова была на той же пристани и ближайшим рейсом вернулась в Елабугу.

Наверняка к Асееву она отправилась сразу же, едва узнав его адрес. Но вот об этой-то чуть ли не самой главной чистопольской встрече мы почти ничего и не знаем! Знаем ряд обстоятельств вокруг — но не больше.

Известно, что дня за два-три до прибытия Марины Ивановны вопрос о возможности ее переезда из Елабуги уже обсуждался на заседании совета эвакуированных. Наверняка это произошло по инициативе той самой Флоры Лейтес, телеграммы от которой Цветаева так ждала. Флора побывала у Николая Николаевича Асеева и, стараясь уговорить его, обещала, что поселит Цветаеву с сыном у себя, так что не придется даже искать жилье. И Асеев согласился вынести вопрос на заседание. Однако там резко недоброжелательную позицию занял драматург Константин Тренев. Год назад он передал для Цветаевой то ли 50, то ли 100 рублей, по случаю, вместе с Маршаком, и теперь запальчиво говорил об “иждивенческих настроениях” недавней белоэмигрантки. А Асеев не стал защищать интересы Цветаевой. Может быть, просто побоялся возразить на треневскую аргументацию: муж — белогвардеец, сама — белоэмигрантка, а Чистополь и без того переполнен... Расстроенная Флора совсем было уже собралась сообщить неутешительный результат заседания Марине Ивановне, но прямо на почтамте ее отговорила от этого случайно оказавшаяся рядом Лидия Чуковская.

— Такую телеграмму отправлять нельзя, — сказала она Флоре. — Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии.

— Так что же, по-вашему, делать? — спросила Флора.

— Настаивать! Хлопотать! Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывают здесь?10

Цветаева узнала о состоявшемся заседании, уже приехав в Чистополь. От самого ли Асеева или от Флоры? Неизвестно. Да это и не имеет значения.

Во всяком случае, у Асеева она побывала. И, глядя в глаза Марине Ивановне, поэт устыдился. Под предлогом плохого самочувствия — у него было обострение туберкулеза — он сам не пошел на новое заседание, но, видимо, именно его хлопотами уже на следующий день правление опять рассматривало прежний вопрос. Асеев переслал от себя письмо — и теперь оно было в поддержку просьбы Цветаевой.

Была ли Марина Ивановна у Асеева только однажды? Продолжительной или краткой оказалась эта встреча? Какие темы обсуждались, помимо разрешения на прописку? И — особенно важно! — оставались ли они наедине, без Оксаны Михайловны, дабы можно было обсудить темы щепетильные? Ничего достоверного об этом мы не знаем. Уверенно можно сказать только две вещи. Одна та, что никакого заряда бодрости Асеев Цветаевой, во всяком случае, не прибавил. Серьезной поддержки ни в чем не обещал, чистопольскую ситуацию не приукрасил. Цветаева могла убедиться, что его письмо в адрес правления — это асеевский максимум. И только на него он был способен. Но с другой стороны, можно быть уверенным и в том, что ссоры между ними тоже не произошло, никаких упреков или претензий Цветаева при встрече не выразила. Иначе стало бы невозможным ее предсмертное письмо, “завещавшее” Асееву хлопоты о сыне.

Чистопольские ночи Цветаева проводит в здании педагогического училища, превращенного в общежитие эвакуированных. С 25-го на 26-е она ночует в комнате Валерии Навашиной (тогда она была женой Паустовского), с 26-го на 27-е — в комнате, где жила дочь Веры Инбер Жанна Гаузнер, Марина Ивановна немного знала ее по Парижу.

За два дня было достаточно возможностей собрать информацию о Чистополе.

Тут все друг друга знали — и, значит, знали опыт всех вокруг. Пугали ли Цветаеву трудностями — или же, наоборот, ободряли, обещали помочь, вселяли надежду? Чужой опыт все равно примеряется на себя с трудом; сколько людей, столько оценок и мнений. Но нетрудно предположить, что минусов здесь Марина Ивановна увидела гораздо больше, чем ожидала.

Мертвенную застылость отмечают в облике чистопольской Цветаевой почти все. В воспоминаниях Флоры Лейтес, приведенных Белкиной, Марине Ивановне трудно было смотреть в глаза — такой безысходностью был полон ее взгляд. Почти слово в слово то же повторяла в устном рассказе и Татьяна Алексеевна Евтеева-Шнейдер. С Лидией Чуковской Цветаеву знакомят на улице; Марина Ивановна произносит при этом приветливые слова. Но они, как пишет Л. К. Чуковская в мемуарном очерке “Предсмертие”, “не сопровождались, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой — ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонаций”11. И другой литератор, Петр Семынин (тот же очерк Чуковской) называет безжизненно “механическим” голос Цветаевой, повторявший как бы заранее заученные фразы.

26 августа, на второй день пребывания Марины Ивановны в Чистополе, Чуковская находит ее в коридоре горсовета, напротив комнаты с табличкой “Парткабинет”.

“Прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая, — Марина Ивановна.

— Вы?! — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. — Не уходите! Побудьте со мной!”

За ведомственной дверью в эти минуты повторно обсуждался вопрос о возможности поселения Цветаевой в Чистополе. Саму Марину Ивановну там уже выслушали, теперь она удалена в коридор и ждет решения. “Сейчас решается моя судьба, — проговорила она. — Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Брошусь в Каму”12.

Отметим: эти минуты перед дверью парткабинета в глазах самой Цветаевой — роковые. Решение, которое будет вынесено, определит — ни больше и ни меньше — вопрос, оставаться ли ей дольше на этом свете.

“— Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там — сплошь деревня.

Я напомнила ей, — продолжает Чуковская, — что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.

— Но тут есть люди, — непонятно и раздраженно повторила она. — А в Елабуге я боюсь”.

Вскоре выйдет из дверей парткабинета Вера Васильевна Смирнова и сообщит, что дело решилось благоприятно. Цветаева может хоть сейчас идти подыскивать себе жилье — это не слишком сложно, и как только его найдет, все будет окончательно подписано, она может переезжать.

Смирнова возвращается в комнату заседаний, Чуковская с Цветаевой выходят из здания горсовета на площадь.

“И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.

— А стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.

— Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.

— Все равно. Если и найду комнату, мне не дадут работы. Мне не на что будет жить”13.

Отметим еще одно: “мне не дадут работы”. Она могла бы сказать: “я не найду”, но говорит: “не дадут”. А ведь только что решилось то, что она сама назвала судьбой! И решилось лучшим образом: можно не откладывая переезжать в Чистополь, где ее знают и вот ведь — поддерживают! — где Асеев и какая-никакая защита организованного братства эвакуированных.

Но Чуковская замечает: в ее спутнице — ни проблеска радости. Едва исчезло препятствие, казавшееся непреодолимым, как на его месте вырастает — и разрастается — другое, тут же гасящее облегчение. Чувство безысходности не рассеялось. Вместо того чтобы уже свершиться, казнь продлена. И значит, нужны новые усилия.

Чуковская соглашается вместе идти искать жилье, так как Марина Ивановна совсем не ориентируется в незнакомых местах. По дороге возникает разговор, чрезвычайно важный для уяснения душевного состояния Цветаевой.

“— Скажите, пожалуйста, — тут она приостановилась, остановив и меня, — скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?

— Стоит — не стоит — об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стоит, и уж, во всяком случае, все равно — как и где. Но у меня дочка.

— Да разве вы не понимаете, что все кончено? И для вас, и для вашей дочери, и вообще.

Мы свернули в мою улицу.

— Что — все? — спросила я.

— Вообще — все! — Она описала в воздухе широкий круг своим странным на руку надетым мешочком. — Ну, например, Россия!

— Немцы?

— Да, и немцы”14.

Остановлюсь еще раз, чтобы расслышать это: “и немцы”.

Я переспрашивала Лидию Корнеевну об этих фразах. Так они ей помнятся, так записаны тогда, так звучали в ушах: “И немцы”, “Ну, например, Россия”... Из чего достаточно ясно, что не в одних только немцах и даже не только в России дело. Рискну досказать.

В глазах Цветаевой происходящая вокруг катастрофа превышает кошмар войны. Надвигается, поглощая и Россию, бедствие глобального масштаба. Темные силы мира воплотились в “нелюдей”, и в их руках — абсолютная власть и сила, безжалостная к человеку. Туча гитлеровской армии, поглощающая русские земли, — только один из ликов торжествующего зла...

Мне кажется, именно об этом говорит Марина Ивановна 26 августа 1941 года, за четыре дня до своей гибели. Говорит единственному человеку, встреченному после отъезда из Москвы, в котором она угадывает сразу ту редкую породу людей, к которой принадлежит сама. Она говорит наконец собственным голосом, без оглядки. Потому что это ее голос, ее подход к происходящему, ее масштаб оценок. Еще в те дни, когда чуть ли не в одночасье фашистские войска поглотили Чехословакию, Цветаева уже выразила в поэтическом слове трагедийное мироощущение современника. В цикле “Стихи к Чехии” эти строки потрясают редкостной мощью личного чувства, соединенной с даром укрупненного видения вещей и событий: “Отказываюсь — быть. / В Бедламе нелюдей / Отказываюсь — жить. / С волками площадей / Отказываюсь — выть. / С акулами равнин / Отказываюсь плыть — / Вниз — по теченью спин. / Не надо мне ни дыр / Ушных, ни вещих глаз. / На твой безумный мир / Ответ один — отказ...”

А ведь то была всего лишь весна 1939 года. Правда, уже пробили удары колокола в судьбе самой Цветаевой. Год назад уехала из Франции в Москву ее дочь, полгода назад тайно, спасаясь от полиции, бежал туда же муж. Они были пока на свободе, но, по сути, уже наколоты, как бабочки на булавках. Когда осенью тридцать девятого их арестовали, Цветаева не тешила себя иллюзиями о случайной ошибке, как многие другие. Она воспринимала скорее как ошибку собственную свободу. И свободу тех, с кем она еще встречалась.

Трагедийное напряжение эпохи было все 30-е годы не вовне, но внутри ее собственного дома. Между тем она начисто лишена была спасительного свойства обыкновенных людей: приспособляться к непереносимому. Хлопотать, как-то перебиваться, обустраиваться, выживать хотя бы и у подножия вулкана. Она пыталась что-то делать и даже вдруг проявляла неожиданную предусмотрительность (вроде писем Чагина, например, вывезенных из Москвы). Но она не могла стать другой, если бы и хотела.

Она не могла перестать слышать то, что слышала. Ощущать и переживать все так, как ощущала и переживала всю свою жизнь — с безмерной, разрывающей сердце остротой.

“В Вас ударяют все молнии... а Вы должны жить...” — писала она семнадцать лет назад, почти что в другой жизни, Борису Пастернаку15. К красотам метафор ради самих красот она никогда не прибегала. Тем более обращаясь к собрату по призванию. Ведь писала она ему о том, что знакомо ему было не хуже, чем ей: о природе истинного поэта. Наоборот, можно быть уверенным, что подбирала она наиболее точные слова, чтобы он сразу мог узнать это состояние. В вас ударяют все молнии. А вы должны жить... Так, во всяком случае, было с ней самой.

Но если уже в тридцать восьмом она столь внятно слышала поступь гибели и так непереносимо было для нее переживание невольной сопричастности к подлости, предательству и насилию, разлившимся в мире, — что же теперь? Пепел погибших стучал в ее сердце, как и страдания обреченных на смерть и муку. Похоже, что последние остатки надежды на то, что мир еще как-нибудь выкарабкается из морока, погасли для нее 22 июня 1941 года.

Жить, дышать, продолжать делать ежедневные усилия — на это у нее оставалось все меньше сил. Гибнет мир. Зло застилает весь горизонт. Временами она ощущала это с такой явственной силой, что, очнувшись, готова была приписать болезни.

Чуковская приводит Марину Ивановну к своим новым друзьям Шнейдерам. Она и сама познакомилась с ними совсем недавно, по дороге в Чистополь. Нежданную гостью встречают с теплым радушием. Выясняется, что здесь знают и любят ее стихи и искренне рады ей самой. После чая и разговоров Цветаева читает “Тоску по родине”. Но не дочитывает до “куста рябины” в конце, обрывает раньше. И в стихотворении остается лишь отречение, сплошная боль оставленности — без намека на смягчение сердца нежностью к родной земле.

Ее просят прочесть “Стихи к Блоку”, она отмахивается: “старье!”. Она хочет читать только то, что и сегодня еще звучит в душе. Ни Шнейдеры, ни Чуков-ская не знают ее таланта в расцвете, все их восхищение — перед той, молодой, почти что начинающей, от которой она так давно и далеко ушла. И Марина Ивановна обещает попозже, этим же вечером, непременно прочесть им “Поэму воздуха”.

Кажется, она немного отстранилась от ужаса, который носит в себе. Попав в живую атмосферу милого дома, она распрямляется. Чуковская пишет: “Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом вглядывалась в новые лица. <...> С каждой минутой она становилась моложе...”16

Четыре дня отделили это чаепитие у Шнейдеров от рокового дня в Елабуге.

Я спрашивала у Лидии Корнеевны: а как же версия о психическом надломе, почти что душевной болезни? Чуковская в ответ энергично протестует. Подавленность, бесконечная усталость, с трудом заглушаемое отчаяние — да, это в ней было. Но когда она говорила, от нее исходила сила, энергия как бы даже вопреки смыслу произносимых ею слов. Конечно, у нее были на исходе силы, душевные и физические, — но это совсем другой вопрос.

И ведь этим же вечером она собиралась прочесть наизусть “Поэму воздуха” — одно из самых сложных своих произведений...

Итак, после благоприятного решения чистопольских властей Марина Ивановна проводит несколько часов в баюкающей дружеской обстановке. Ее выслушивают с неподдельным интересом, о чем бы она ни заговорила, ей предлагают конкретную помощь: обед и ночлег сегодня, а завтра — совместные поиски жилья. И Цветаева, конечно, чувствует, что этим людям можно довериться, хотя еще несколько часов назад она их не знала...

Но потом она спохватилась. Оказывается, у нее назначена встреча. С кем? Где? По воспоминаниям Чуковской, Марина Ивановна сказала Шнейдерам (сама Лидия Корнеевна в это время ненадолго вышла), что ее ждут в гостинице. Но в рассказе Татьяны Алексеевны Евтеевой, спустя несколько десятилетий, была иная версия: Цветаева будто бы сказала, что пойдет к Асееву. И вернется обратно к восьми часам. Но не вернулась.

Слово “гостиница” может насторожить, потому что в те давние времена свидания в гостиницах любили назначать чиновники из органов. В данном случае, однако, в это не верится. В Чистополь Цветаева только что приехала — и кто бы успел разыскать ее здесь и назначить это официальное свидание? В Елабуге ее “достать” было несравненно проще... Скорее всего гостиницей Марина Ивановна назвала то самое общежитие, где она ночевала.

И там она действительно появилась, но уже поздним вечером, усталая, измученная. Еще подробность (разысканная Белкиной): у нее сильно болели ноги. Согрели воду, и в комнате, где жила Жанна Гаузнер и семья Натальи Соколовой, Марина Ивановна сидела на скамеечке, опустив ноги в таз и низко склонив голову...

Где она была в промежутке? Почему так устала? Отчего не вернулась к Шнейдерам? В последнем, впрочем, нет ничего особенно странного: не для того она покинула в Елабуге сына, с которым впервые, кажется, была в разлуке, чтобы читать стихи и вести общие разговоры в милом интеллигентном семействе.

Возможно, и в самом деле Цветаева еще раз зашла к Асееву. Это выглядело бы естественно: прийти, чтобы поблагодарить и сообщить о результативности его, асеевского, заступничества. И именно теперь, когда главное препятствие уже устранено, поговорить, скажем, о возможностях заработка в Чистополе. Или — о том, другом... если все-таки существовал предмет этого другого. Может быть, накануне такой разговор не получился и она надеялась, что теперь обстоятельства будут более благоприятны? Не потому ли она и оставалась мрачной, что та тень продолжала над ней висеть?

Но этого мы не знаем и не узнаем, по-видимому, уже никогда. Если только Николай Николаевич не поделился воспоминаниями с кем-либо вне своего семейного круга. В этом случае тема может когда-нибудь всплыть на поверхность, потеряв уже, правда, почти все градусы достоверности.

С достоверностью известно другое: дочь Цветаевой Ариадна Сергеевна до конца своей жизни белела при упоминании имени Асеева.

В письме ее к Пастернаку от 1 октября 1956 года мы находим беспощадные строки: “Эти имена, — пишет она об именах Цветаевой и Асеева, — соединимы только, как имена Каина и Авеля, Моцарта и Сальери. <...> Для меня Асеев — не поэт, не человек, не враг, не предатель — он убийца, а это убийство — похуже Дантесова”17.

Резкость суждений и категоричность оценок (под влиянием известия, вызвавшего ее доверие) — черта, увы, характерная для дочери Цветаевой. Но нащупать объективную позицию в таком вопросе, как самоубийство матери, ей было, разумеется, нелегко. Подробности последних дней Марины Ивановны дочь знала, с одной стороны, из дневника брата (с которым она так больше и не увиделась, расставшись в августе 1939 года: к моменту освобождения сестры из лагерей Георгий был уже убит на войне). С другой стороны, Ариадна Сергеевна сообщала в письме к В. Н. Орлову двадцать четыре года спустя после гибели матери (31 августа 1965 года): “В короткий перерыв между лагерем и ссылкой я успела связаться с людьми, бывшими в то время в Елабуге, и записала с их слов то, что они тогда — всего 6 лет спустя — хорошо помнили”18.

Однако, несмотря на короткий срок, отделивший воспоминания от трагического события 1941 года, в рассказах, которые записала дочь Цветаевой, многое оказалось попросту неверным — из-за огрехов памяти вспоминавших. Что касается роли Асеева в те дни, здесь существенно то, на чем сходятся почти все, кто жил тогда в Чистополе: после известия о гибели Цветаевой именно Асеева молва винила в равнодушии и черствости. Не помог, не ободрил, не уговорил... Но ведь помог?

Асеев знал об отношении к нему дочери Цветаевой, о ее непримиримом непрощении. Известно теперь и другое: Николай Николаевич сам в глубине собственного сердца не прощал себе вины перед Мариной Ивановной. Знать бы, какой именно... Он вовсе не был закоренелым злодеем, он был только равнодушен в те дни и труслив. И еще: он очень не любил раздражать свою властную, лишенную всяких сантиментов жену. Вот этих-то качеств оказалось достаточно, чтобы Цветаева отчетливо ощутила пустоту в последней точке надежды. Пустоту — вместо опоры.

Что у Асеева совесть была перед Мариной Ивановной нечиста, подтверждает рассказ Надежды Павлович, приведенный в книге Белкиной.

Павлович случайно встретилась (незадолго до его смерти) с Николаем Николаевичем в латышском местечке Дзинтари. Она увидела его в маленькой церквушке неподалеку от находившегося там писательского Дома творчества. Он молился и плакал, стоя на коленях. А потом признался Павлович в том, что его так мучило. Он очень виноват перед Мариной, очень во многом виноват... Так, без всяких иных подробностей, передала смысл его покаяния Павлович в 1979 году, стоя уже сама на пороге смерти. Но в признании Асеева скорее всего подробностей не было...

Итак, последний ночлег Цветаевой в Чистополе — в том же общежитии. Утром 27 августа Цветаева уже снова на пристани. Здесь в ожидании парохода, идущего в Елабугу, она успевает поговорить немного с Елизаветой Лойтер. Та едет в обратную сторону. И вот еще один важный штрих для наших размышлений: Марину Ивановну, вспоминала Лойтер, совсем не радовала перспектива переезда в Чистополь. Она была расстроена и удручена.

Но чем же?..

Цветаева вернулась в Елабугу — в дневнике Мура об этом сообщается в записи от 28 августа. Фраза из письма Сикорской Ариадне Сергеевне: “она вернулась такая окрыленная и обнадеженная” — не может иметь для нас веса, ибо не основана на личной памяти автора. Сикорская в эти дни в Елабуге не была. В рассказе же хозяйки елабужского дома Бродельщиковой, записанном в 1964 году Р. А. Мустафиным, сказано иначе: приехала Марина Ивановна подавленная, поникшая. И это больше согласуется с остальными свидетельствами.

Но на следующий день после возвращения матери в дневнике Мура появляется запись о том, что решение принято: завтра, то есть 30-го, они переезжают в Чистополь! Решение кажется слишком уж стремительным. Но легко догадаться, что сам Мур страстно хотел уехать из Елабуги как можно скорее. Какие бы отрезвляющие подробности ни рассказала о Чистополе Марина Ивановна, сын уверен был, что хуже елабужской дыры ничего уже быть не может. Впрочем, хотел он больше всего вернуться в Москву, а не ехать в какой-то другой город. Но и еще одно обстоятельство заставляло торопиться: сентябрь подступил вплотную, пора было определяться в школу...

Слух о том, что постояльцы Бродельщиковых собираются куда-то переезжать, распространился скорее всего в те дни, когда Цветаева ездила в Чистополь. Но возможно, и еще раньше: вспомним свидетельство А. И. Сизова.

И вот в доме на улице Ворошилова появляется юная Нина Броведовская. Она только что приехала из того же Чистополя. Возможно даже, что ехали они с Цветаевой на одном и том же пароходе. Нина была из Пскова, в Чистополе они с матерью оказались случайно, и им там очень не понравилось. Самостоятельная и энергичная, Нина отправилась в недалекую Елабугу — оглядеться и поискать жилье, если там покажется лучше. Сразу по приезде ей назвали адрес Бродельщиковых. Там, сказали ей, еще живет какая-то эвакуированная учительница, но собирается оттуда съезжать, что-то ее не устраивает. Фамилию хозяев Нина запомнила (правда, неточно — как Бродельниковых) из-за того, что она перекликалась немного с ее собственной: Броведовская. Запомнила она и дату своего приезда в Елабугу — 28 августа. Это был день рождения ее двоюродного брата, и Нина отправила уже из Елабуги письмо матери, напоминая ей, как ровно год назад брат приезжал к ним в Псков и они его поздравляли.

В доме Бродельщиковых Нина застала как раз “учительницу”, больше никого не было. Судя по ряду деталей, которые можно высчитать, это было 29 или 30 августа.

Беседу с Ниной Георгиевной Молчанюк, урожденной Броведовской, записывали в разное время Л. Г. Трубицына из Набережных Челнов, много лет занимающаяся сбором материалов о последних днях Цветаевой, Лилит Козлова из Ульяновска, автор нескольких книг, посвященных Цветаевой; известно также, что беседовала Молчанюк и с Анастасией Ивановной Цветаевой, и с сотрудниками Музея изобразительных искусств в Москве. Существует собственноручное письмо Молчанюк, адресованное сотруднице музея А. А. Демской, с подробным рассказом о той давней встрече.

Разночтений в записях почти нет, но, чтобы не упустить важных подробностей, изложу “сводный” вариант.

Итак, когда Нина пришла в указанный дом, ее встретила как раз та квартирантка, которую назвали почему-то учительницей. Имени ее Нина, естественно, не спросила. Одета “учительница” была странно: на ней было что-то вроде фланелевого халата, а ноги укутаны в какие-то толстые обмотки. Эти укутанные ноги наталкивают на мысль, что горячую ножную ванну принимала Цветаева в канун отъезда из Чистополя не от простой усталости. Боли в ногах, видимо, продолжались. И кстати, в записи Мустафина Бродельщикова также вспоминает, что Марина Ивановна в самые последние дни (видимо, после возвращения из Чистополя) болела, лежала, потому и на расчистку аэродрома 31 августа вместе со всеми пойти не могла, а ведь все должны были идти в тот день: и местные, и эвакуированные.

Отвечая на вопрос неожиданно появившейся девушки, “учительница” подтвердила, что они с сыном действительно собираются отсюда уезжать. Назван был Чистополь — город, где у них есть друзья: “они помогут нам устроиться”. И тут выяснилось, что сама Нина только что из Чистополя. Она рассказала, что им с матерью не удалось там найти ни жилья, ни работы, что для Нины главное — устроить мать, потому что сама она непременно уйдет на фронт: она уже успела окончить фельдшерские курсы.

Цветаева пытается отговорить свою юную собеседницу от этих планов. В Елабуге, по ее словам, жить невозможно, здесь “ужасные люди”, да и во всех отношениях здесь гораздо хуже, труднее, чем в Чистополе. И фронт — это не для девочки. Война — это грязь и ужас, это настоящий ад, и смерть на фронте — еще не самое страшное из того, что может случиться.

— Тем более, — добавила она, — что у вас есть мама. У меня — сын, он тоже все время куда-нибудь рвется. Он вот хочет вернуться в Москву, это мой родной город, но сейчас я его ненавижу... Вы счастливая, у вас есть мама. Берегите ее. А я одна...

— Но ведь у вас сын? — возразила Нина с недоумением.

— Это совсем другое, — был ответ. — Важно, чтобы рядом был кто-то старше вас — или тот, с кем вы вместе росли, с кем связывают общие воспоминания. Когда теряешь таких людей, уже некому сказать: “А помнишь?..” Это все равно что утратить свое прошлое, — еще страшнее, чем умереть.

Слова эти тогда же поразили Нину, как поразила ее и какая-то особенная интеллигентная речь женщины, так не вязавшаяся с ее затрапезной одеждой. Отметим, что в этой беседе Цветаева уравновешенная, спокойная, даже, пожалуй, рассудительная. Но и тема войны и беспредельного одиночества обнаруживает кровоточащую рану.

Долгое время спустя после этой встречи Нина не раз вспоминала услышанное, настолько оно показалось ей значительным; женщина вызвала и симпатию и сочувствие. Запомнить же недавний разговор во всех его подробностях заставили трагические события. Нина была еще в Елабуге, когда по городу разнеслась весть о самоубийстве. Волей случая она оказалась и на елабужском кладбище в день похорон Цветаевой. И здесь она поняла, что самоубийца — ее недавняя собеседница. Позже назвали и ее имя — Марина Цветаева.

С детских лет Нина слышала эту фамилию у себя в доме: Цветаев. Именно Цветаев, а не Цветаева. С Иваном Владимировичем, отцом Марины Цветаевой, состоял в интенсивной переписке дед Нины — преподаватель рисования в псковской гимназии; ему даже был подарен Цветаевым то ли альбом, то ли какая-то книга с дарственной надписью. О Марине Цветаевой, поэте, Нина ничего не знала. Она услышала о ней только теперь, вернувшись в Чистополь. Оказалось, что мать Нины в юности увлекалась цветаевскими стихами. Она даже слышала, как читала их сама Марина вместе со своей сестрой Асей, видела Цветаеву и в Крыму на литературных вечерах. Естественно, что все подробности встречи и гибели Цветаевой были пересказаны теперь матери и пережиты Ниной вместе с ней. Потрясение надолго сохранило их в памяти.

У меня нет никаких сомнений в подлинности свидетельства Н. Г. Молчанюк. Странным образом ощущение достоверности сразу возникло по отношению не только к внешним обстоятельствам встречи, но и к диалогу, хотя, кажется, труднее всего верить воспроизведению прямой речи, звучавшей более сорока лет назад (первые записи воспоминаний Молчанюк относятся к 1984 году). Но ощущение было именно таким: да, это цветаевские слова! Именно Цветаева могла сказать так и об этом. Свидетельство Молчанюк соответствует решительно всему: характеру Марины Цветаевой, особенностям ее мироощущения и особенностям той ситуации, в которой она тогда оказалась...

Но безусловное подтверждение рассказа я нашла в недавней публикации писем Ариадны Сергеевны Эфрон (“Новый мир”, 1993, № 3, публикатор Р. Б. Вальбе). В двух письмах, адресованных в разное время разным людям, дочь Цветаевой повторяет теми же словами знакомую нам мысль. Руфи Борисовне Вальбе 11 апреля 1969 года: “9-го апреля похоронила последнего, кажется, человека, которому здесь, в России, могла говорить: “а помнишь?” — мужа моей давней приятельницы Нины Гордон; не знаю, знаешь ли ты ее. Мы с ним дружили еще во Франции, а с ней с первых дней моего приезда в СССР...” И в письме к В. Н. Орлову от 28 августа 1974 года примерно то же: “...какое счастье, когда каждое горе — пополам. А мне уже давно некому сказать: “а помнишь?” — хотя бы это сказать!”19

Это неожиданное эхо — важный опознавательный знак. Очевидно теперь, что в Елабуге Цветаева повторила незнакомой девушке то, что не раз говорилось в их доме и что безотчетно, как губка, впитала в себя Аля, возросшая под мощным облучением материнской личности. Так появился веский аргумент в пользу прекрасной памяти Нины Молчанюк. И мы можем быть уверены теперь, что знаем важный эпизод последних дней жизни Марины Цветаевой.

Эпизод этот, в частности, в очередной раз опровергает версию о самоубийстве в Елабуге как акте, совершенном в состоянии разрушенной психики, помраченного сознания. Нет, и свидетельство Чуковской, и свидетельство Молчанюк, становясь в ряд с тремя предсмертными письмами, написанными обстоятельно, спокойно, трезво, исключают, на мой взгляд, возможность такой трактовки. Добавим еще, что и бесхитростный Сизов, говоря о впечатлении, какое на него производила Цветаева, подчеркивал: не похоже было, чтобы она готовилась тогда к чему-то страшному. Он чувствовал в ней, наоборот, желание вырваться из беды, что-то сделать для этого. “Устремленность в ней была”, — настаивал Алексей Иванович...

Почему же не осуществился план отъезда в Чистополь 30-го? Может быть, просто потому, что ни в тот день, ни в ближайшие не оказалось пароходного рейса на Чистополь. Они были тогда, по словам той же Молчанюк, нерегулярными. Ведь именно по этой причине — отсутствию парохода — и сама Нина застряла тогда в Елабуге, хоть и торопилась вернуться обратно, получив от матери телеграмму. Потому-то она и оказалась на кладбище случайной свидетельницей похорон Цветаевой.

Но вот еще одна запись в дневнике Мура: 30-го упомянуты две “литературные дамы” — Ржановская и Саконская, из бывших попутчиц по пароходу. Они обсуждали с Цветаевой вопрос о переезде в Чистополь. Именно они, пишет Мур, отговорили Марину Ивановну уезжать. Они считали, что раз там, в Чистополе, нет ничего определенного, то можно и в Елабуге найти работу.

И Цветаева находит силы сделать последнюю попытку вытащить себя и сына из болота безнадежности. Она идет — на больных ногах! — в пригород Елабуги, в овощной совхоз: там, сказали ей, можно договориться о заработке. Идет — и предлагает председателю совхоза свои услуги: вести переписку, оформлять какие-нибудь бумаги.

— У нас все грамотные! — отрезает председатель.

Через несколько дней с тем председателем случилось разговаривать некой молодой врачихе. Слух о самоубийстве уже дошел до совхоза. И председатель уже понял, что приходила к нему именно та, которая на следующий же день покончила с собой. “Я дал ей тогда пятьдесят рублей, просто чтобы не отпускать ни с чем, — рассказывал председатель. — Но она ушла, оставив деньги на моем столе. А больше я ничего не мог...” Эту подробность спустя много лет сообщила та самая женщина-врач в письме к И. Г. Эренбургу...

Не сыграла ли свою психологическую роль еще и эта милостыня, поданная в тяжкие дни великому поэту? Кто отважится на попытку воссоздать мысли и чувства Цветаевой, возвращавшейся обратно, на улицу Ворошилова, после этой, может быть, и последней своей прогулки? Есть, впрочем, уже, увы, невозможное для проверки свидетельство о другой прогулке, имевшей место незадолго до рокового дня. Александр Соколовский (тогда еще совсем юный, но обожавший поэзию) рассказывал, что Цветаева предложила ему однажды погулять вместе вокруг Елабуги. Они сделали тогда не один круг, и Марина Ивановна все время говорила на одну тему — о самоубийстве Маяковского. Что именно, мы не знаем — Соколовский уже ушел из жизни.

Когда ее жалели друзья, Цветаеву тут же отпускало напряжение, помогавшее ей держаться в форме, — слезы выступали на глазах, она не могла их удержать. Чужая доброта делала ее слабой, выставляла на яркий свет всю ее незащищенность. Что же было последней каплей?..

Сестра поэта Анастасия Ивановна считала, что роль эту сыграла ссора с сыном 30-го вечером. Но не в первый раз мать с сыном говорили на повышенных тонах. Ссора ли то была или просто очередное объяснение с упреками со стороны Мура — никто уже и никогда не скажет; говорили они между собой по-французски, смысла речей хозяева понять не могли.

Неудачи самых последних дней по сравнению с тем, что приходилось переживать Цветаевой прежде, — комариные укусы. Не больше.

Но что они означали?

А то, что завтра и послезавтра и еще много дней (а может быть, и месяцев!) подряд ей придется продолжать, превозмогая себя, делать усилия.

В Елабуге или в Чистополе. Искать жилье и работу, получать унизительные отказы, искать снова — и снова получать отказы.

Советы двух доброжелательниц, поколебавшие Марину Ивановну в решении немедленно уехать, пришлись на момент, когда у нее не оставалось уже никаких сил пробовать новые варианты...

Но где же сюжет с НКВД?

Кажется, что ему уже нет места в этих последних днях. По крайней мере внешне. Ибо, вернувшись из Чистополя, Цветаева — это теперь очевидно! — колеблется: стоит ли уезжать из Елабуги? Она увидела вблизи пределы преданности своего литературного друга, а может быть, даже простодушно поверила, что он, Асеев, совсем ничего для нее сделать не может, кроме того самого письма-ходатайства перед правлением. Увидела грязный, не слишком отличающийся от Елабуги город; поняла, что литературной работы там не найдет. С этим последним заключением она все-таки поторопилась, потому что работало в Чистополе, например, радиовещание и вокруг его редакции сложился со временем литературный коллектив... Но Марина Ивановна торопилась обратно к сыну и слишком была подавлена, чтобы разузнать обо всем подробнее. А если еще и Асеев сказал ей, к примеру, что на литературный заработок рассчитывать здесь не придется, она опять же поверила бы ему сразу и окончательно. “А больше я ничего не умею...” — повторяла она много раз самым разным людям. И в самом деле не умела. И не могла — можем мы добавить. По той же веской причине не могла, по какой прачка не может станцевать партию Одетты в “Лебедином озере”, даже в случае самой крайней необходимости.

Кстати говоря, тот же Сизов сообщил, между прочим, что Цветаева попробовала-таки профессию судомойки в Елабуге! Трудно только установить, было это до или после поездки в Чистополь. Об этой попытке Сизову рассказала вскоре после нашумевшей истории с “удавленницей” официантка елабужского ресторанчика, что на улице Карла Маркса, в здании суда. Она услышала разговор своих знакомых клиентов за столиком и вмешалась:

— А я ее видела, эту вашу эвакуированную. Она ведь у нас судомойкой приходила работать. Да только полдня и проработала. Тяжело ей стало, ушла. Больше и не появлялась...

Так что если и в Чистополе ей “светила” только роль судомойки, пусть даже в столовой для писательских детей и жен, стоило ли переезжать?

Ну а если главным импульсом поездки в Чистополь был все же страх? И жажда совета и поддержки? Тогда понятнее мрачное состояние Цветаевой, не исчезнувшее при благополучном исходе заседания писательского правления. Мы видели, что оно сохранялось и после посещения дома Шнейдеров, и на пристани перед отъездом из Чистополя обратно в Елабугу. Если э т у поддержку искала Цветаева в Чистополе, то очевидно, что ее она не нашла. Скорее всего, я думаю, она не нашла даже случая обсудить т а к у ю заботу с кем-либо. Новые знакомые у нее были и в Елабуге. А вот старые, давние?.. Но не с Жанной же Гаузнер, человеком другого поколения, было ей советоваться! Что же до Асеева... Неизвестно, в чем он просил прощения у Бога в маленьком храме Дзинтари, но, во всяком случае, свое плечо он Цветаевой не подставил. И она могла за время поездки понять, что от всевидящего ока все равно не убежишь. Там ли, здесь ли.

Согласиться на доносительство — такого вопроса перед ней не стояло. Но чего можно ждать за отказ? Места переводчицы ей, во всяком случае, так и не дали. Приятель М. И. Бродельщикова Евгений Иванович Несмелов, рассказывавший мне прошлой осенью в Елабуге о хозяевах дома, где жила Цветаева, говорил это с их слов: в переводчицы не взяли по анкете. Но ведь предлагали, уже зная обо всех особенностях ее биографии! Не было ли это первым ответом на отказ? И чего можно было ждать от них еще? И прежде всего — для сына? Вот где в самом деле встает призрак того тупика, о котором напишет Марина Ивановна в предсмертном письме сыну. Напомню: “Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик”20. Последние слова подчеркнуты рукой Цветаевой.

И другого тупика, если оценивать ситуацию спокойно, в этот момент не было. Поездка в Чистополь увенчалась успехом — если целью был переезд. Разрешение было получено! Найти жилье — все говорили — было вполне возможно; хорошие люди обещали помощь и в поисках работы...

В этих известных нам обстоятельствах сторонний взгляд не находит т у п и-к а. Остаются неизвестные. И еще остается наше знание о полной утрате Мари-ной Ивановной внутреннего спокойствия. Какой там “сторонний взгляд”! Спустя два года Мур признался в письме к Гуревичу, что за несколько недель до гибели “мать совсем потеряла голову”, а он только “злился за ее внезапное превращение”21. Увы, из контекста письма невозможно установить, когда именно это началось. Но все-таки важно, что для сына, который был с матерью рядом все эти месяцы, ее состояние незадолго до гибели выглядело как “внезапное превра-щение”.

Однако осознает это Мур позже. В Елабуге же в последние дни августа, когда силы матери на исходе, а ее душевное напряжение усугубляется физическим недомоганием, раздосадованный новой отсрочкой отъезда шестнадцатилетний подросток не находит в себе ни единой капли сочувствия. Он зол и жесток. В его дневнике 30 августа появляется запись: “Мать как вертушка совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Ч. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это “решающее слово” произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня”.

Не пройдет и суток после этой записи до того момента, как ноги подкосятся у юнца, пытавшегося рассуждать об ответственности.

Он сядет прямо в дорожную пыль, услышав от хозяйки дома о том, что матери уже нет в живых...

31 августа 1941 года. Яркий солнечный день. Все ушли из дома, кроме нее, и она знала, что ушли надолго. Три записки, оставленные на столе, были лаконичны, но каждое слово в них выверено.

Она уходит из жизни в последний день лета. Уходит в конечном счете потому, что видит себя на грани взнуздания — теми силами, подчиниться которым ее дух не может. Это всегда была ее, чисто цветаевская, особость в поэтическом воплощении темы смерти. В зрелые свои годы она чаще всего писала о смерти добровольной. Смерть как протест, смерть — если нет уже надежды одолеть зло, насилие, принуждение:

Не возьмешь мою душу живу!
Так, на полном скаку погонь —
Пригибающийся — и жилу
Перекусывающий конь

Аравийский.

Эти горделивые строки были написаны еще в 1924 году. Они остались до конца выражением ее жизненного кредо.

31 августа 1941 года Цветаева делает шаг в пространство свободы.

Вспомнилось ли ей в это последнее утро, что ровно год назад, день в день, 31 августа 1940 года, она была в ЦК? Вряд ли.

Ее пригласили прийти туда в ответ на отчаянную телеграмму, посланную за несколько дней до того на имя Сталина. Второй раз Цветаева обращалась к вождю. На письмо, если, впрочем, оно было отослано, ответа так и не последовало. Теперь речь шла уже не о судьбе мужа, а о ней самой и сыне. К этому времени Марина Ивановна использовала все каналы, которые сама могла придумать и какие подсказывали друзья, дабы разрешить жилищную проблему. В Белокаменной, некогда так воспетой в ее стихах, не находилось места, куда она могла бы поставить свои чемоданы.

А их теперь оказалось немало. Как раз в августе 1940 года на таможне наконец выдали багаж, прибывший из Франции, — огромную часть его составляла домашняя библиотека Цветаевой. Налегке, без вещей, вдвоем с сыном они еще могли кочевать по квартирам разных добрых людей. Но с багажом деваться было просто некуда. Его свалили у друзей Николая Вильмонта Габричевских, на улице Герцена, но хозяева должны были со дня на день вернуться из Крыма. Цветаева уже писала письма в Союз писателей Фадееву и Павленко, давала объявления в газету, соглашалась на маклера (исчезнувшего вместе с задатком), обращалась в Литфонд. Безрезультатно.

27 августа 1940 года Мур записал в дневнике, что у матери состояние самоубийцы. В этот день и была послана телеграмма в Кремль. От полной безнадежности. “Помогите мне, в отчаянном положении. Писательница Цветаева” — таков текст, приведенный в дневнике.

И вот 31-го ее вызвали. Разумеется, не к Иосифу Виссарионовичу. С Цветаевой дружелюбно беседуют в одном из отделов ЦК.

Прямо при ней звонят в Союз писателей — с предложением помочь “писательнице Цветаевой” решить ее жилищные проблемы.

В садике неподалеку Марину Ивановну терпеливо ждут Мур и Николай Вильмонт. Моросит дождь. Когда она выходит, все трое счастливы уже одним тем, что они снова вместе.

Меньше чем через месяц проблема с жильем в самом деле разрешилась: сотрудник Литфонда А. Д. Ратницкий отыскал комнату, которую сдал Марине Ивановне на два года инженер Шукст, уехавший работать на Север. Трудно сказать, было ли это результатом звонка из ЦК. Ибо, во-первых, Ратницкий пытался помочь Цветаевой и раньше; во-вторых, огромную сумму, требовавшуюся на уплату комнаты вперед за год, Марине Ивановне все равно пришлось собирать самой. Так что указующий звонок из ЦК в Союз писателей был скорее всего отработанной инсценировкой. Привычным враньем, снявшим, однако, ненадолго остроту стресса. Дневник Мура отметил, что в тот вечер на радостях они пили кахетинское сначала у Вильмонтов, а потом еще и у Тарасенковых.

В тот же день (утром? или совсем поздно вечером?), 31 августа 1940 года, Марина Ивановна писала горькое письмо поэтессе Вере Меркурьевой. О том, что Москва ее не вмещает. Что она не может вытравить из себя оскорбленного чувства права. Ибо, писала она, Цветаевы “Москву — задарили”: усилиями отца воздвигнут Музей изящных искусств, а в бывшем Румянцевском музее — “три наши библиотеки: деда Александра Даниловича Мейна, матери Марии Александровны Цветаевой и отца Ивана Владимировича Цветаева”. Позже Марина Ивановна поставит рядом и другое свое право уроженца города — еще и право русского поэта, еще и право автора “Стихов о Москве”. Унижение провоцирует в ней мощный всплеск уязвленной гордости. “Я отдала Москве то, что я в ней родилась!” — так сформулировала она наконец в письме к той же Меркурьевой22.

Сказано все это совсем не по адресу. Но где адрес, где тот имярек, кто измучил ее и ее близких, отнял возможность самого скромного, но достойного существования? Перед кем еще можно было бы высказать все эти доводы, клокотавшие в сердце? Я склоняюсь к мысли, что письмо это писалось именно в преддверии разговора с властями, может быть, в ожидании назначенного часа, и Цветаева с пером в руках выговаривала аргументацию, которую — она понимала! — ей не придется высказать властям...

Когда во Франции она спорила с мужем и дочерью о том, что именно происходит в Советской России, ей казалось, что они ослеплены и одурачены, а она в отличие от них трезва в своих оценках.

Но как далеко было ей до трезвости! Какие залежи иллюзий должны были разорваться в ней со звоном и грохотом, едва она ступила на землю отечества! Она была готова ко многому, но не к такому. Чего она боялась? Что ее не будут печатать, что Муру забьют голову пионерской чушью, что жить придется в атмосфере физкультурных парадов и уличных громкоговорителей... Вот кошмары, на съедение к которым она ехала, ибо выбора у нее не оставалось — выбор за нее сделала ее семья.

Она пыталась и не могла представить себя в Советской России — со своим свободолюбием и бесстрашием, которое называла “первым и последним словом” своей сущности23. И с этим-то бесстрашием подписывать приветственные адреса великому Сталину? А ведь даже подпись Пастернака она с ужасом обнаружила однажды в невероятном контексте на странице советской газеты.

Но ей и во сне не могло присниться, что на самом деле ждало ее в отечестве. Не приветственный адрес ей пришлось подписывать, а челобитные и мольбы о помощи. И как раз тому, кто вдохновлял и вершил беззаконие, кто ставил ее дочь раздетой в узкий ледяной карцер, где нельзя ни сесть, ни прислониться к стенам, а мужа доводил истязаниями до галлюцинаций. Бесстрашие... Оно становится картонным словом из лексикона рыцарских романов, когда на карте оказывается не собственное спасение, а боль и жизнь твоих близких.

Оно сменяется обратным: не исчезающим страхом. За близких. Но и за себя, потому что именно тебя стремятся превратить в колесо для распятия самых дорогих тебе людей.

“Вчера, 10-го, — записывала Цветаева в январе 1941 года в черновой тетради не договаривая, проглатывая куски фраз, — у меня зубы стучали уже в трамвае — задолго. Так, сами. И от их стука (который я, наконец, осознала, а может быть, услышала) я поняла, что я боюсь. Как я боюсь. Когда, в окошке, приняли — дали жетон — (№ 24) — слезы покатились, точно только того и ждали. Если бы не приняли — я бы не плакала...” Ясен ли перевод на общечеловеческий? Она едет в тюрьму с передачей для мужа, о котором полтора года не знает ничего. Единственный способ узнать, жив ли он, — передача: приняли — значит, жив. А вдруг на этот раз не примут?

Короткая запись в другом месте тетради: “Что мне осталось, кроме страха за Мура (здоровье, будущность, близящиеся 16 лет, со своим паспортом и всей ответственностью)?”

И еще запись, вбирающая все частности: “Страх. Всего”. Оба слова подчеркнуты24.

В ее письмах 1939 — 1941 годов — россыпь признаний, в которых отчетливо прочитывается страх собственного ареста. А может быть, и ареста Мура. Могла ли она не знать об арестах и ссылках членов семьи “врага народа”? Разве не арестовали уже сына ее сестры Аси Андрея Трухачева? И сына Клепининых Алексея?

Зимой и весной 1940 года ее мучают ночи в Голицыне: звуки проезжающих мимо машин, шарящий свет их фар. И Татьяне Кваниной она говорит как бы невзначай: “Если за мной придут — я повешусь...” Перед самым отъездом в эвакуацию ей необходимо взять из жилищной конторы справку. Но она боится идти за ней сама и просит сделать это Нину Гордон: если она сама придет за справкой, ее тут же заберут. Она боится своего паспорта — он “меченый”. Боится паспорта Мура. Боится, по воспоминаниям Сикорской, заполнять анкеты, что ни вопрос там, то подножка: где сестра, где дочь, где муж, откуда приехали.

Соседка по квартире на Покровском бульваре (тогда еще десятиклассница) Ида Шукст вспоминает, что Цветаева боялась сама подходить к телефону и сначала узнавала через нее, кто спрашивает. Однажды — уже началась война — в квартиру без предупреждения пришел управдом. “Марина Ивановна встала у стены, раскинув руки, как бы решившаяся на все, напряженная до предела. Управдом ушел, а она все стояла так”25. Оказалось, он приходил, просто чтобы проверить затемнение. Цветаева же слишком хорошо помнила появление коменданта на даче в Болшеве осенью тридцать девятого: всякий раз ему сопутствовал очередной обыск — и арест.

Она боится довериться новым знакомым. Сикорская пишет об этом довольно резко: “Ей все казались врагами — это было похоже на манию преследования”26.

Преувеличенны ли были все эти страхи? Не слишком.

И об Ахматовой говорили, что она преувеличивает внимание Учреждения к своей особе. Вряд ли это так. Отметим, однако, важное различие в трагическом самоощущении двух русских поэтов. Ахматова прожила в этом отечестве всю свою жизнь (что само по себе не подвиг и не заслуга). Цветаева очутилась в России после семнадцати с лишним лет разлуки. И о чудовищном размахе беззаконий и лицемерия, пронизавших страну снизу доверху, она, конечно, не догадывалась. Вот почему то, что обрушилось на ее семью, вызвало у нее такой шок. Я думаю, мир пошатнулся бы много слабее в ее глазах, если бы ордер на арест предъявили ей самой. Но увели Алю и мужа! Тех, у кого все 30-е годы с уст не сходили слова преданности Стране Советов! “Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость”, — записывала Марина Ивановна в своей тетради. Она все еще не догадывалась (запись относится уже к началу 1941 года), что принимать так близко к сердцу попрание справедливости в ее отечестве этих лет равнозначно скорби об отсутствии снега в Сахаре. Но таков ее сердечный ожог. Безмерная острота душевной реакции — отличительная черта ее природного склада.

Бесспорно, и без специальных “бумажных” доказательств мы назовем НКВД прямым пособником в самоубийстве Марины Цветаевой. Черное его дело началось не в Елабуге. И даже не осенью тридцать девятого года, когда арестовали Алю и Сергея Яковлевича. И не осенью тридцать седьмого, когда был убит под Лозанной Рейсс-Порецкий и Эфрон бежал из Франции, а Цветаеву дважды допрашивали во французской полиции. Может быть, в июне тридцать первого, когда Сергей Яковлевич отнес в советское консульство в Париже прошение о возврате на родину? Или же еще раньше: в 20-е годы, когда в ряды русских эмигрантов-евразийцев были засланы первые люди в штатском, получившие задание в кабинетах ГПУ?

Но в конце концов не столь уж и важно, в какой именно момент паутина лжи и шантажа, затянувшая в свои сети Сергея и Ариадну Эфрон, стала смертельно опасной уже для самого поэта. Несомненным можно считать другое: нити той самой паутины накрепко вплетены в роковую елабужскую петлю, оборвавшую жизнь блистательной Марины Цветаевой.

1 “Воспоминания о Марине Цветаевой”. М. “Советский писатель”. 1992, стр. 447. В дальнейшем данное издание обозначено: “Воспоминания”.

2 Беседа с Идеей Брониславовной Шукст-Игнатовой. Записана Е. И. Лубянниковой 6 октября 1982 года. Архив Е. И. Лубянниковой.

3 “Воспоминания”, стр. 449.

4 М а р и я Б е л к и н а. Скрещение судеб. Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка времени, людей, обстоятельств. Издание второе, дополненное. М. “Благовест”, “Рудомино”. 1992, стр. 311. В дальнейшем данное издание обозначено: Белкина.

Важная оговорка: и знакомство с Флорой Лейтес на пароходе, и дата телеграммы, посланной ей из Елабуги (см. ниже), — результат уникальных разысканий М. Белкиной; моя роль в данном случае — лишь попытка выявить внутреннюю логику фактов.

5 Белкина, стр. 320.

6 К и р и л л Х е н к и н. Охотник вверх ногами. М. “Терра — Terra”. 1991, стр. 49—50.

7 Белкина, стр. 307.

8 Рассказ А. И. Сизова впервые опубликован в кн.: Л и л и т К о з л о в а. Вода роднико-вая. К истокам личности Марины Цветаевой. Ульяновск. “Симбирская книга”. 1992, стр. 207.

9 “Болшево”. Литературный историко-краеведческий альманах. Вып. 2. М. Товарищество “Писатель”. 1992, стр. 211.

10 “Воспоминания”, стр. 528.

11 “Воспоминания”, стр. 533.

12 Там же, стр. 536.

13 Там же, стр. 537.

14 Там же, стр. 538.

15 Письмо Цветаевой Пастернаку от 11 февраля 1923 года (в кн.: М а р и н а Ц в е- т а е в а. Сочинения в двух томах. Том второй. М. “Художественная литература”. 1988, стр. 481).

16 “Воспоминания”, стр. 543.

17 А р и а д н а Э ф р о н. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М. “Советский писатель”. 1989, стр. 455.

18 РГАЛИ, ф. 2833 (фонд В. Н. Орлова), ед. хр. 322. Сообщено Р. Б. Вальбе.

19 “Новый мир”, 1993, № 3, стр. 189 и 193.

20 Белкина, стр. 326.

21 Письмо Г. С. Эфрона С. Д. Гуревичу от 8.01.43 (“Русская мысль”, Париж, 6.09.91).

22 М а р и н а Ц в е т а е в а. Где отступается любовь... Петрозаводск. “Карелия”, стр. 217—220.

23 М а р и н а Ц в е т а е в а. Письма к Анне Тесковой. Санкт-Петербург. Внешторгиздат. 1991, стр. 115.

24 Запись в рабочей тетради М. И. Цветаевой 1940 года.

25 См. прим. 2.

26 Белкина, стр. 307.